

## МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ

### I

#### ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДРУГА

Со мною не могло быть ничего такого. Я человек одинокий, никого не люблю, меня никто не любит, — какие огорчения в жизни могут быть у меня? Иной раз чувствуешь подагру или небольшую одышку, остальное все благополучно. Но бывает иногда досадно, когда видишь ошибку.

В молодости мы служили вместе с одним тоже отличным человеком. Он вышел в отставку, уехал в деревню, нажил детей, как следует. Провел в этом занятии лет двадцать пять, и вдруг я получаю от него письмо такого содержания, что, дескать, по старой дружбе, похлопочи: сын мой, говорит, прекрасный молодой человек, но имел несчастье влюбиться в девушку без состояния и даже не нашего сословия, а дочь соседнего управляющего, — я, пишет это мне отец, не спорю, что она прекрасная девушка, но не пара: потому он выкинул такую штуку, что увез ее, и где они теперь, неизвестно; а надобно полагать, скорее всего, в Петербурге, потому что, — все он пишет, — у моего сына нет ничего, ускакал с двумястами целковых; и что теперь он с нею едят, неизвестно, а надобно полагать, что сидят не евши; и хотя, — пишет он, — я очень досадовал, но отцовское сердце заговорило, да и мать этого повесы просит: неужели, говорит, мы уморим сына с голоду? — Потому, — он пишет, — старый дружище, поищи ты моего парня. Счастье наше с женою будет, если они не повенчаны; но не смеем и надеяться на это: как бы не повенчался, безумная голова, то давно бы написал, попросил прощения. Но ты скажи, что все прощаем. Голы они и босы, надо полагать, — ты их экипируй прилично, чтобы не стыдно было показаться в нашу здешнюю публику как следует сыну богатого помещика и его жене; когда повенчались, то уж дочь

и она, толковать нечего; ну, экипаж тоже возьми, посади их да и отправь к нам в Бугуруслан, обнадеживши, что примем с ласкою и благословением и попреков не будет. Приметы же: сын — вылитый, как я был в те годы, лишь с окладистою бородою; а борода черная. Она же лет 19, маленькая, хорошенькая, востроносенькая, глаза серые, волосы шатеновые; а если не за- был, то похожа на нашу бывшую генеральшу Назаренкову, когда генеральша еще была в девицах.

Ладно, я говорю: поищем.

Послал своего Игнатия Трофимовича в Адресный стол, — там ему дали штук до пятнадцати Гусевых, молодых людей, и женатых и холостых: он всяких брал, на оба, знаете, случая. Проездив, в два утра, три целковых, возвратился с тем, что так ни один и не подошел под приметы. Однако, я сам съездил к двоим, которые казались по-подходящее других на его глаза: точно, и они не подходят. Один женат на брюнетке, другой тетку показал: вот, говорит, удостоверьтесь от тетушки, что все наше семейство коренные петербургские жители, безвыездные, а если этого не довольно вам, то прошу вас, отправимся к отцу-матери моей супруги, они живут в Большой Офицерской в доме Рашетта. Нет, говорю, верю. Написал своему старому однокашнику: из пятнадцати человек ни один не подходит под твоего сына с его женою ли, любезною.

Получаю от моего Гусева ответ: не прост ли ты, друг? Как же ты хотел, чтобы молодой человек с девицею ли или женою, но благородною, скрывающиеся от родителей, жили под настоящим именем?

Точно, думаю, прав старик; а вот я тоже старик, но немножко опростоволосился. Ладно, поищем по приметам, наведем справки. Дал в этом смысле инструкцию своему Игнатию Трофимовичу, он подобрал себе в пособие человека два-три таких нюхальщиков, пошли нюхать по Петербургу. И сам я старался узнавать. Но, конечно, в таких вещах скорее можно доискаться по мелочным лавочкам и от дворников, и притом же их целых четверо искало, а я один, — не мне, а им и случилось напасть на след.

Живут на Петербургской, на Малом проспекте, в доме вдовы чиновницы Хрисанфовой; приехали в Петербург назад тому четыре месяца; повенчаны; паспорт у мужа: чиновник канцелярии казанского прокурора, Рукавишников, уволен в Петербург на полгода. Приметы все те: высокого роста, смуглый, волосы черные, курчавые, нос орлиный, лицом красив, борода окладистая. И жена по всем приметам та самая. Живут бедно, в лавочку не должны, а есть слух, что стали должать хозяйке.

Должно быть, они самые. Отправился туда. «Дома чиновник Рукавишников?» — знаете, домишко самый беднейший, весь-то и с двором трех тысяч не стоит, дворника нет, спрашиваю стря-

пуху. — «Барина, говорит, нет, он каждое утро бегают искать, должности какой не найдет ли, или так работы. А барыня дома». — Ну, думаю, оно и лучше, что его нет, переговорю с хозяйкою, не знает ли она чего, чтобы еще не влопаться, мимо да в лужу: может быть, ведь и не они. — Нет, я говорю кухарке, с молодой барыней мы после поговорим, а прежде ты проводи меня к своей барыне.

Ну, женщина немолодая, неглупая, сначала было пересконфузилась, потому что, точно, женщина небогатая, с нашим кругом не имеет знакомств, — с какой стати пожаловал? — но поразговорились, увидели друг в друге благородных людей, у ней рассеялось это, знаете, подозрение, не волокитствовать ли я хочу, стала говорить откровенно. Точно, говорит, я могла заметить из их разговора, что тут что-нибудь не так. В паспорте прописаны имена Павел Андреевич и Марья Степановна, и они сами при мне так называют друг дружку и в разговорах со мною и с кухаркою, — а обе мы несколько раз слышали, что она его зовет Гриша, а он ее Зина. Но, говорит, такие прекрасные молодые люди, и не только я, даже Агафья так их полюбила, что мы не подаем им никакого вида, что у нас есть подозрение; а тем больше, чтобы стали мы говорить кому об этом, — а ваше дело дружеское, то перед вами открыть считаю не болтовнею.

Когда она сказала мне это, я сейчас справку по письму: так, молодой Гусев Григорий. Значит, не оставалось бы сомнения; но я все-таки говорю: а нельзя ли мне взглянуть на нее, незаметно для нее? — Можно, говорит, пойдемте, я скажу ей, что вы осматриваете все комнаты, потому что хотите снять мой домишко под свою канцелярию. — И то дело, говорю, пошли. Точно, молодая женщина, лет 19 или 20, — на генеральшу Назаренкову в девицах мало походит, потому что я был в ту генеральшу влюблен, и в девицах, и в генеральшах, значит, подобных ей нет на земле; но если бы другой посмотрел, сказал бы: точно, для краткости в описании можно сказать, что есть сходство.

Хозяйка ей объяснила, по какому случаю я тревожу ее своим входом, — я прибавлял от себя извинение, она отвечала, я еще — она тоже, — видит, что я заговариваю, попросила садиться, — поговорили минут с пять, я, чтобы не было опять и у ней какого-нибудь мнения обо мне, не стал сидеть, раскланялся, ушли опять к хозяйке. Теперь уж не было сомнения, что, точно, удалось отыскать настоящую парочку. Узнавши от хозяйки, когда застать его, приезжаю на другой день. — «Дома Рукавишников?» — «Дома», говорит кухарка. Прекрасно.

Вошел, — сидели обнявшись, как нежные голуби, ворковали, вскочили, она покраснела. — «Прошу извинения, сударыня, но по делу, и, как надеюсь, увидите, не такой человек, чтобы вы меня конфузились. Позвольте мне поговорить сначала наедине с вашим супругом, который ничего не может услышать от меня,

кроме приятного для вас и для него». — Они, знаете, занимали две комнаты; она ушла. Я к нему, знаете, без больших предисловий:

— Ваше имя — Григорий, не так ли? Поверьте, что я руковожусь ничем иным, как искренним расположением.

— Позвольте мне ближе узнать цель вашего вопроса, он говорит.

— Извольте, я говорю. Я бывший сослуживец отставного капитана лейб-гвардии Гусева, живущего в своем поместье в Бугурусланском уезде.

— Очень приятно, он говорит. Я слушаю вас, говорит.

— У него есть сын Григорий; этот молодой человек увез девушку, жениться на которой отец не позволял ему, — поэтому, повенчавшись, молодые уехали, — в Петербург; у них не было денег, они должны нуждаться; но они совершенно ошибались, не надеясь на примирение со стариком и старухой Гусевыми. Старик от имени своей жены и своего просил меня найти сына, уверить его в их родительской любви, пригласить их возвратиться.

— Все это очень любопытно, говорит молодой человек. Признаюсь, я слушаю вас с большим интересом. Прошу вас, продолжайте. — Сам заметно меняется в лице, но с бодростью, к лучшему, — будто мои слова оживляют его.

— Я кончил, говорю я.

— Кончили?

— Да, говорю.

Он вдруг вспыхнул и побледнел. Долго молчал, — видно было, что борется с собою. Потом с усилием проговорил:

— Вы ошиблись, милостивый государь. Я не Гусев.

— Я забыл договорить: я имею на руках деньги от старика, моего приятеля.

— Я это понимал, милостивый государь. Но я не Гусев.

Разумеется, мы говорили громко — что я пожелал быть наедине с ним, так ведь это больше только форма. — Как он сказал это во второй раз «я не Гусев», она как будто застонала в той комнате.

— Не к чему это, я говорю, знаете, уже строго, как пожилой, опытный советник. — Вы слышите, я говорю, — пожалейте ее; из пустой щепетильности нечего скрывать. А если вы сомневаетесь, то совершенно напрасно.

Он свое: — Вы ошиблись, я не Гусев.

— Но вы не Рукавишников.

— Если вы это знаете, то да. Надеюсь, что не обратите во вред мне это сведение.

— Не о том разговор, чтобы я стал вредить, а берите деньги да поезжайте с богом.

— Не могу, потому что я не Гусев.

Я уже вовсе с досадою говорю ему: — Вы жестокий упрямец. Пожалейте вашу жену.

Он закрыл глаза рукою и опять с большим усилием сказал: — Ну, пусть она решает сама. Зина!

Вошла она. — Ты слышала — решай.

— Он не Гусев, и мы не можем взять ваших денег.

Я попытался урезонить ее, — нет, тоже уперлась. Бросил, ушел. Рассудив так: видно, еще не пробрала нужда до костей; подумайте, потерпите, друзья; через месяц будете поразумнее.

Сказал им, что вот мой адрес, но что если ему не будет времени увидаться со мною раньше, то я сам понаведаюсь недели через две, — а лучше заехал бы он раньше, да и взял деньги. С тем и простились.

Приезжаю через две недели, хозяйка говорит: «съехали с квартиры, боялись вас». — Куда же? — «Не велели сказывать». — А вы все-таки скажите, а то и без вас найдем, — в первый раз нашли же, во второй тем легче. — «Нет, теперь будет помудренее, потому что теперь уж не в Петербурге искать». — Ну вот, и поговорились; так уж досказывайте. — «Точно, выехали; а куда, все-таки не скажу». — Я потолковал с нею еще, опять уверил, что желаю им пользы; она призналась, что они остались ей должны рублей до пятидесяти; разумеется, плакалась при этом на свое сиротство. Я на этом и уловил ее: «Если скажете, куда они уехали, отдам вам их долг». Она подалась: «Скажу; но так не умею, потому что уезда и села не помню, имена-то мудреные, а память плохая; принесу вам адрес». На этом нельзя обмануть: нет, прежде принесите адрес, тогда и деньги получите.

Дело не стало у ней за адресом: на другое же утро принесла записку, — но вышло такое подозрительное обстоятельство, что я очень усомнился: возвратившись, моя чиновница запела уж совсем не тем тоном, как вчера. «Я, говорит, не хочу вас обманывать; эту записку я написала было для вас обманом; они вовсе не уехали из Петербурга, здесь они; но так запрятались, что веки веков не отыщете, и контрамарку сдали, что выезжают из Петербурга. Кроме меня, ни через кого не найдете дороги к ним. А точно, чрезвычайно нуждаются. Теперь не откажутся от ваших денег. Давайте, я им отдам». — Да я сам отдам. — «Нет, давайте мне». — Не очевидное ли мошенничество старухи? — Нет, матушка, я не отдам денег иначе, как из рук в руки. — Обиделась: «Ах, говорит, вы не доверяете мне, как это вы так можете меня подозревать? Я тоже хотя не генеральша, а штаб-офицерша, надворная советница. Это для меня очень обидно». — Напрасно, я говорю, обижаетесь, а впрочем, как угодно. Не моими деньгами не могу располагать по своему доверию, а должен отдать в руки тому, кому присланы. Знаете, и я-то уж пригнул немного, потому что никаких денег еще не было прислано мне от его отца, — ну, да это так всегда говорится. С тем и ушла.



Опять послал своего Игнатия Трофимовича. Нет, никаких следов. В полицию действительно показано, что выехали из Петербурга; — справлялись во всех кварталах, нигде не вписаны прибывшими Павел и Марья Рукавишниковы; по улицам ходили, смотрели, по лавочкам дознавались, все сделали, что можно — нет. Через неделю воротились, говорят: нет, не имеем никакой надежды.

Меня, знаете, взяла совесть, а больше досада: как же оскверниться перед старым приятелем в таком деле? — были птички в руках, да вылетели; на что это похоже? — Дай, думаю, попробую с этой старухой повозиться, может быть, и усовещу, урезоню. Поехал. — Что ж, господа, — срам сказать: она меня кругом оплела, — смотрю я на нее и думаю: не дурак же я, и не слепой же я в самом деле: честная женщина, хоть зарежьте меня, честная женщина, не похожа на мошенницу. Взял, да и отдал ей 500 рублей.

— Отдали?!

— Да, отдал, говорю: «передайте, верю вам». И даже признаюсь вам, если бы спросила больше, то и больше дал бы, вижу, что честная женщина, не мошенница. И отдал.

— Но это непростительно.

— А что прикажете делать? Сам понимал, что делаю глупо. Но не сказывает их адреса, а по разговору, по всему — благородная женщина. Я и сказал ей: «Глупо поступлю, но извольте, отдам вам деньги». — А она, знаете, как ни в чем не бывало: «Да у вас, батюшка, достаточно ли денег-то? Им до пятисот понадобится, потому что они здесь позадолжали». — Извольте вам 500 рублей. Вынул, положил и с тем ушел. Даже расписки не взял у нее, такое доверие нашло на меня.

И знаете, как это даже странно: сам отдал, и сам думаю: хорошо, что не больше пятисот пропадет.

— Надобно сказать, действительно, вы поступили странно.

— Одним словом, отличился. Но ведь вот есть же такие люди: умеют внушить доверие.

— Как не быть. И остался в уверенности, что отдаст она им. То есть, как вам сказать? — не в полной уверенности, но все-таки ждал письма от своего сослуживца, что, дескать, благодарю, дружище, и с признательностью возвращаю тебе пятьсот рублей, израсходованные тобою. Сам понимаю, что смешно это, а жду. Ждал с месяц.

— Прекрасно.

— Да-с, ждал месяц. Но, однако, чувствовал, что глупо, потому совестился и ему писать и вот больше года молчал передо всеми.

— Напрасно, вот вы рассказали, то каждый из нас поддержит вас: не теряйте надежды, продолжайте ждать.

— Нет, господа, теперь не жду, потому что получил.

— Получили?

— Да-с, а то стал бы рассказывать! Значит, все-таки не такое же глупое ослепление было мое доверие к этой старухе. Но, натурально, совсем не то. Какую ж она удрала штуку, — замысловато. Совсем не то, что мне казалось. Умная женщина.

Через полгода после этого, или и раньше, мой Гусев, старик-то, пишет мне, что благодарит меня за мои хлопоты, потому что они все-таки остались не бесполезны, хоть я сам и не мог найти его сына, — натурально, я ему написал, что не нашел, — хоть отчасти и прилгнул, но и не то, что прилгнул, а только утаил — согласитесь, совестно же бы написать: «нашел, да упустил». — Итак, говорит, хотя сам ты, дружище, не нашел, но как ты расспрашивал и говорил, то слух дошел до моего сына, и он написал, правда ли, что я прошу его, и по моему ответу возвратился, и имеем теперь милую дочь, за что благодарю и тебя». Вот как. — Возвратились, помирились, — слава богу.

Что ж, еще через полгода или больше, — то есть не дальше, как третьего дня, — получаю я письмо такого содержания, что, говорит, искушение было слишком велико и страшно, и у меня не достало силы характера, но не спешите винить меня: эта женщина устроила так, что мне почти не было возможности отклонить ее предложение.

История вот какого рода, в коротких словах. Совершенно такой же случай, молодые люди повенчались тихонько от родных и ускакали, только разница та, что из богатой-то фамилии она, а у него ни гроша, ни даже дворянства, что еще важнее, потому что те очень гордые, и так и не простили дочь до сих пор, и даже стараются делать неприятности. Он думал найти что-нибудь в Петербурге, — конечно, сразу ничего не найдешь, — продали ее два шелковые платья — двенадцать рублей, — но не это главный ресурс, а когда бежала из дому, в ушах были очень хорошие серьги, — забыла про них, снять, — они тоже помогли, — но всего рублей двести, не больше. Ну, а сначала-то была надежда, и в театре бывали: «Как же, Зина, надобно хоть раз побывать в Опере». Через три месяца из полутора ста рублей не осталось ничего, — с 150 рублями приехали, продавши в Москве серьги-то. Стали должать, — раздумье пришло, места нет, будет ли, нет ли, через полгода ли, через год ли, а куда 15 рублей жалованья; плохо, знаете. Очень. И вот в эту минуту подвернулся я с своим Гусевым, — ведь надобно же прийти в голову такому вздору, что человек говорит: «да вовсе я не Гусев» — а я: «врешь, мне надо Гусева, хоть переродись, да будь Гусев, по-моему».

Что ж теперь старуха? — Теперь начинаются ее штуки. Видит она, что мне вступила дурь в глаза, и пристала к ним: да вы точно ли Рукавишниковы, а не Гусевы? — Те говорят: точно не Рукавишниковы, но и не Гусевы, а — ну, я не могу сказать вам настоящей-то фамилии.

— Ах, какой же вы! — Когда есть секрет, то нечего было рассказывать; а нет, так почему не сказать фамилию?

— Ну, знаете, все как-то неловко. Нет, уж лучше не скажу, хоть точно, что ничего такого нет. Вот, когда они рассказали ей все, уж и стали говорить, — он-то «я раскаиваюсь, что поехал в Петербург; вот в такой-то губернии мой товарищ и приятель правитель канцелярии, он бы сейчас доставил мне место». — Так и поезжайте, батюшка, с богом. — «Да вы сами видите, он говорит, с чем мы выедем». — Так вы, батюшка, взяли бы у него деньги, было бы вроде займа, объяснили бы после, заплатили бы.

— Что это вы, как это можно! это подлость! — Точно, говорит, подлость, извините меня, батюшка, я женщина необразованная. Но дня через три, через четыре говорит им: «Признаюсь вам, что для меня это очень обременительно, не получать от вас денег». — Нечего делать, съехали; рады и тому, что согласилась выпустить, поверила их слову, что расплатятся при первой возможности. Она им и квартиру указала, — у своей знакомой, подешевле, и знакомой поручилась за них, — а сама к квартальному, — очень хороший человек, по ее словам (я вчера заехал к ней, посмеяться и в шутку извиниться, что считал ее обманщицею), она с ним знакома, объяснила ему свою штуку и упросила попридержать контрамарку недели две, три, — словом, обработала все, — да и ко мне. Получивши от меня деньги, к ним: «вот вам, говорит, поезжайте к своему правителю».

«Согласитесь же, милостивый государь, — пишет он мне, — что искушение было слишком сильно, и не осуждайте меня строго. Я взял деньги. Я знал, что они ваши, — как было не догадаться? Хотя она и очень осторожна была, но было же видно, что это ваши деньги, я только обольщал себя успокоением, пустоту которого сам чувствовал, что эти деньги взяты у вас не обманом». Прибавляет, что просит извинения, что и теперь не может возвратить всех, прислал триста рублей — а на остальные двести, говорит, хочу остаться вашим должником, а не чьим-нибудь, чтобы исключительно вам быть обязану до конца; надеюсь, через полгода пришлю и остальные 200 рублей».

Вот удивился-то я, прочитавши! — Не утерпел, поехал к ней: — «Ну, вам бы не в юбке ходить, а быть министром», я ей сказал, — право: министром быть бы этой старухе, — могла бы, могла бы. — «Да, батюшка, говорит, точно, голь на выдумки хитра. И их-то жаль, и самой-то тяжело: за квартиру — когда с них получишь». А полюбила их, — и мало того, что за квартиру не получаю ничего, — почти что на всем моем содержании жили и уж рублей до сотни было моего долга на них. Что ж мне было, как не схватиться за этот случай? Думаю: удастся — хорошо, не удастся — нет убытку. А оно и удалось.

— Да, я говорю, нашли дурака! Вот и досадно: ведь дурак, согласитесь?



— Да, странно, что вы поверили ей деньги.

— Да-с, поверил. Так иногда покажется человек. И еще удивительнее, что не ошибся: потому и стал теперь рассказывать, а то молчал.

— Точно, все-таки развязка извиняет вас.

— Да-с, не совсем, однакоже, слеп. Коли вижу, что честная женщина, то уже значит, что точно. Так и вышло, вышло, против всякой надежды, и вышло.

## 2

### ДУХОВНАЯ СИЛА

(Из рассказов доктора Беневоленского)

Дедушка был богатырь: невысокого роста, но очень широкий в плечах, и человек необыкновенного здоровья; он прожил до девяноста семи лет. Ему уже много лет говорили приятели; — староста, целовальник, да Терентий Акимыч, так богатый мужик, что «пора тебе, отец Еремей, отдохнуть; уж внука-то невеста, отдай место за ней». Но он все бодрился, лет пятьдесят отправлял должность. Однако старость взяла свое; поехал в Рязань просить, чтобы посвятили мужа одной из его внуков, дьякона, во священники на его место. Посвятили. Но этот новый священник сам был уже человек в летах, — я думаю, ему под пятьдесят; иной раз и нездоровится, приход верст на двадцать — дедушка часто ездил за внука отправлять требы, особенно в ненастье. Сколько ж лет было ему самому, когда внука была немолодая женщина? Должно быть, что под восемьдесят или за восемьдесят.

Вот однажды приехали звать совершать требу в одну из дальних деревень, и поехал дедушка. Дело было уже к вечеру, дедушка не рассудил ехать назад; лучше переночевать в той деревне. Остался. Сошлись мужики, сидят, калякают. Только дедушка замечает, что мужики невеселы.

— Что на вас, будто уныние, братцы? — Те говорят: как же не уныние? До такого сраму дожили, что и сказать нельзя. Играли вечер наши парни, — боролись, дрались на кулачки, — а на грех, поутру-то, приди к нам иностранцы, бурлаки с Волги...

— Надобно вам сказать, что у нас в Рязани людей из других мест, прохожих, звали иностранцами; особенно это были бурлаки. Так говорят: приди к нам иностранцы, да и загуляли у нас, на прощанье, между собою: из нашей деревни, слышь ты, врозь итти им. Вот, загулявши и оставшись-то ночевать, вышли они к нашим парням на игру, и один из них, из этих иностранцев, всех наших парней поборол; и из тех борцов, из старинных, которые уж бросили эту забаву, выходили на него, всех поборол.

— И Никиту Филиппыча поборол?

— Какое тебе Никиту Филиппыча, Илья Захарыч выходил, и того смял, не попахло.

— Ну, Илья Захарыч будто выходил?

— Выходил, потому что нельзя: хотелось с деревни срам снять.

— Ну это, братцы, точно, значит, силен.

— Вот какой срам, батюшка. По всей дороге пойдут, будут говорить, разнесут; положат стыд на нас.

— Точно, братцы вы мои, не хорошее дело, что иностранец наши места осрамит. Разве что мне не заступиться ли за вас, своих детей духовных? Ведь и мне стыд с вами.

— Известно, батюшка, как же и тебе не быть огорчительну такому стыду на твоих детей духовных.

— Ой, пойду, ребята.

— Вот, батюшка, выручишь: сними ты охулку с наших мест.

— А сниму же, ребята; отвык я только, а сила еще есть.

Пошли за иностранцем; познакомился с ним дедушка, вечер просидели в беседе, выпили тоже. Уговорились бороться.

Сошлись поутру. Вся деревня стоит в страхе, что-то будет, снимет ли отец Еремей с деревни стыд.

Взялись за кушаки. Как взялись, рванул иностранец дедушку, — не поднял, а дедушка иностранца рванул, — да по отвычке-то, не словчился, что ли...

— Вы знаете, как борются в наших местах: берутся за кушаки и стараются поднять друг друга с земли, это делают порывами, и — тот рванет, этот рванет, стоит только оторвать противника от земли, или хоть немножко приподнять, и уж тем самым порывом он будет свален на землю.

— Так по отвычке, что ли, не словчился дедушка, или уж ослабели руки от старости, — только не удержал он иностранцева кушака в руках: как рванул его на себя кверху, да и перебросил его, совсем, через себя, — и не удержал за кушак: иностранец, взлетевши через дедушку, хлопнулся о землю саженьях в двух позади его, — через полчаса и умер, так разбился.

Однако дедушка успел исповедовать его.

— Ну, что же с дедушкой?

— Жалел; да мужики, говорит, виноваты: уж очень большое понятие дали мне об его силе; да нет, говорит, больше я сам виноват: точно, он очень сильно рванул, да и мужчина-то был громадный, так я и не сообразил, что надо бы мне с умеренностью, а хватил во всю силу. — Да вы не про это спрашивали, а про то, что ж было с дедушкой? Эх, вы! Чему ж быть-то? Дело было полубовное.

— Да, дедушка был очень силен, и хорошо умел бороться, и был хороший кулачный боец; в другом курсе, может быть, славился бы и первым бойцом; но тот курс, в котором он учился, был особенный, протодряконский.

— Приехал, видите, в Рязань новый архиерей, ученый. Тотчас же сделал распоряжение: вызвать учиться всех, которые не были отданы отцами в ученье, а оставлены при себе. Вот и свезли в Рязань этот народец из деревень: парни лет по 18, по 20 и больше. Жили при отцах, пахали землю, грамоте не учились. А все-таки и дьячки жили несколько получше мужиков; по крайней мере, в хлебе-то уж не нуждались. Так можете представить, какие это люди выросли на пашне-то да на привольной пище: страшно смотреть, стену плечом своротит. Составили из них особый класс, не с мальчиками же их учить, хоть начинать надо тоже с азбуки. И место нашли этому классу: сарай, огромный. Начали учиться. Через месяц учитель приходит к ректору, говорит:

— «Не могу, ваше высокопреподобие, силы мои слабы. назначьте покрепче меня. Не пробую их так, чтобы чувствовали». — «Да ты что ж их рукою бьешь? Ты палкою». — «Я и то палкою, ваше высокопреподобие: не чувствительно им». — Ректор увидел, точно: сечение ведь не на всякую ж минуту, оно идет в две, в три скамьи без перерыву; но одними розгами никак нельзя обойтись, это длинная материя, а нужна учительская рука кроме того. Назначил другого учителя, поздоровее. Через неделю и этот пришел, тоже говорит: «и я не в силах приносить им должной пользы, слаб». Ну, тут ректор да и сам архиерей задумались, кого выбрать: нет в виду более способного учителя: первые два были люди здоровые, особенно второй-то. — «Да, может быть, говорят ему, — ты только предлог такой берешь, а отказываешься потому, что не буйствуют ли они, так ты так и скажи». — «Нет, ваше преосвященство, юноши благонравные и покорные, послушания нет с их стороны, а что действительно силы мои слабы по их крепости». — «Так одно средство, говорит архиерей: — назначу учителем протодьякона». Ну, протодьякон мог отправлять учительскую обязанность. Завел себе толстую дубину, и ничего, чувствуют. Значит, ученье пошло своим порядком, так и отдается по всему двору, как дубина стучит.

Это ничего, бока здоровые, да и порядок ученья требует; но вот какое обстоятельство: ведь они числятся в первом классе, стало быть, и содержание отпускалось им по первому классу. А даже и девятилетние мальчики выходили из-за обеда не сытые; какова ж была эта порция двадцатилетним парням, здоровенным мужикам, которые у себя по деревням чуть не по полпуду в сутки уписывали? Что им делать? Воровали съестное, из лавочек, с рынка; но все по мелочи, только больше голодали, подзадоривши аппетит. Смотрели, смотрели и устроили дело так: отправляются в мясные ряды на рынок партиями, человек по семи, по восьми; окружают стол; один торгуется с мясником, покупает кусок фунта в три, другие тут юлят, а тут один из-за них схватит кусок побольше, да и уходит поскорее, пока товарищи развлекают

мясника; если мясник заметит, хочет погнаться, они задерживают его, уронят или побегут с ним вместе, будто тоже ловить вора, а сами мешают другим поймать его.

Это у них было заведено по очереди: ныне мне стащить, завтра тебе, послезавтра ему. Вот дошла очередь до Кистровского. Да, я еще и не говорил вам, кто был Кистровский? Вот он-то самый и был тот, при котором ни дедушка, ни кто другой не мог заслужить в семинарии славу богатырскую. Протодьякон говорил: всех могу учить; но для Кистровского где ж можно найти учителя? Кроток и послушен и смирен духом, только потому и могу учить его.

И точно, этот Кистровский делал подвиги, какими, по преданию, должна быть доказана богатырская сила. Другие только подкову ломали, а он сломанные половинки опять ломал пополам.

Запрягут в телегу пару лошадей, сядут двое, погоняют в два кнута, — а Кистровский держит за заднее колесо — и не то, что только удерживает, даже оттягивает назад.

Впрочем, это обыкновенно рассказывается о всяком знамени-том бойце, и почти о всех напрасно; может быть, и Кистровский вовсе не был так здоров, чтобы пересилить пару лошадей. В сторону эту присказку о нем, а вот что в самом деле было с ним.

Пришла ему очередь быть промыслителем. Товарищи торгуются, а он идет мимо, высматривает, какой кусок поближе да побольше, — прошел раз, прошел два, — смотрит, глаза разгораются, — и не утерпел, разгорелись глаза: подле прилавка стояли на полу у столбов стяги, он схватил один, да и бежать.

— С целым стягом?

— Я сказал. Мясник взвыл, все мясники ахнули, погнались все; нагоняют Кистровского: с быком на плечах не очень быстро побежишь, будь хоть Кистровский, — видит он, дело плохо; не убежит. Он с горя остановился, да как поддерживал стяг на плече руками за задние ноги, смахнул с плеча его, да и начал им помахать; помачивает, а сам уходит. Так и отбился.

— Да этого быть не может! Как же махать целым стягом, в котором пудов семь, восемь?

— По-вашему «не может быть», — и по-моему тоже. Но так было.

Значит, поздно говорить, что не может быть.

Это приключение прославило Кистровского, потому он и не перешел во второй класс из первого. Отец ректор велел отдать стяг назад, а Кистровского пороть. Поронье пороньем, а слава славою, и месяца через два пришло к архиерею письмо от Алексея Орлова. Архиерей призвал Кистровского сам лично объявить ему: «Отправляться тебе, Кистровский, в Тулу: его сиятельство граф Алексей Федорович Орлов просит меня прислать тебя к нему померяться с бойцом, которого он вывез из Москвы».



Мужайся, сыне, паче же укрепляйся надеждою на господа. Бог тебя благословит. Будь кроток духом, и пошлется тебе счастье от всевышнего через его сиятельство, если будешь добрыми нравами и преданностью к его графской светлости достоин того».

Благословил Кистровского и отпустил.

Приехал Кистровский в Тулу, представили его графу. Граф назначил три дня на отдых ему, — то есть на питье с его соперником и другими своими бойцами, которые не выдержали против московского нового, а на четвертый день битва.

Вышли московский и Кистровский. По обряду, перед боем надобно испробовать силу, дать по разу друг другу. Бросили жребий. Выпало начинать московскому бойцу. Кистровский стал. Московский боец развернулся и дал Кистровскому в грудь, — Кистровский упал; но через минуту поднялся на ноги. Подали штоф вина, чтобы ему оправиться.

Он кряхтел сильно — выпил, ничего — боль отошла. Стал московский боец. Кистровский говорит: «нагнись, в грудь не хочу бить», — московский боец немного принагнулся, подставил спину, — как хватит Кистровский, спина хрустнула. Перешиб пополам спинной хребет. Только.

— Ну?

— Тоже, как и дедушка, не рассчитал силу, не по умыслу.

— Ах, не то! Что ж?

— А! Что остался ли жив-то московский боец? Ну да как же можно? Натурально, если удар перешиб спинной хребет, то и пяти минут не продышал. Только успели поцеловаться с Кистровским: «прости, брат».

— Ну?

— Да чего ж вам еще? Остался при графе Кистровский, будто непонятно. Не люблю бестолковых.

### 3

## ВЛЮБЛЕННЫЙ

— Да, если вы уже спрашиваете, Федор Николаевич, то я должен сказать вам: о вас говорят очень странно. И все.

— И без всякого сомнения, прибавляют, выставляют в дураки и бог знает в каком виде. Я затем и приехал к вам, чтобы рассказать, как было. Был уж у троих: у Захара Родионовича, у Спиридона Ивановича, у Олимпия Яковлевича, и от Олимпия Яковлевича к вам, от вас поеду к Василью Филипповичу. Всех прошу спорить против глупых преувеличений и распространять историю так, как она была.

— Извольте, с удовольствием. Как же она была?

— А очень просто. Приезжаю к мадам Решеткиной. Нахожу

все семейство в саду: пьют чай. Несколько гостей; в том числе барышня, очень недурна собой, — милая. После чаю разошлись по саду. Я с нею. Ходим, разговариваем.

— Да кто ж барышня?

— Ах, боже мой, Харитова. Кто ж, как не Харитова?

— Так. Теперь начинаю понимать. Вы тут в первый раз видели ее?

— В первый. Она мне очень понравилась, с первого взгляда. Потом совершенно очаровала. Она тоже слышала, кто я и что, как. Я влюбился. И тотчас же подумал: почему же мы с нею не партия? За нею душ сорок, у меня 800 рублей жалованья, и тоже дворянин. Согласитесь, партия?

— Против этого никто не говорит, сколько я слышал.

— Словом сказать, я объяснился, вижу по ее словам, как она принимала мои любезности, что я также не противен ей. Она отвечает: «Мы так мало знаем друг друга». Но какое ж это возражение? Слава богу, мы не в Петербурге или в Москве. Все в городе знают всех по слухам. Пьяница ли я? Картежник ли? Первый ли месяц я живу в городе? Что обо мне спрашивать, или мне о ком? Когда понравились друг другу, что ж тут? Правда ли?

— Это ваша правда.

— Я и отвечал ей в этом смысле: «Конечно, я только ныне имел счастье увидеть вас, но смею думать, что это не препятствие блаженству моего сердца: зачем вы стали бы мучить его сомнением? Успокойте меня или погубите одним словом. Противен ли я вам?»

— Она говорит: «Нет, — я думаю, что покраснела, — но уже в это время смерклось: — нет, вы нисколько не противны мне». — Итак, вы позволите мне говорить с вашею матушкою? — «Да, можете». Даже позволила мне поцеловать ее руку. Если бы не были в пяти шагах от нас молодой Решеткин с кем-то еще, может быть, и поцеловались бы. Так еще с четверть часа мы походили по саду. Потом она собралась домой. «Завтра ваша матушка решит мое счастье». — «И мое», — она прибавила, прощаясь.

— Вот, хорошо-с. На другой день, в одиннадцать часов приезжаю я к ним. Вхожу, мать сидит в гостиной с инспекторшею. Пьют чай. Я отрекомендовался. Она приняла очень ласково. Посидели; я жду, когда инспекторша уйдет. Ушла. Мы еще несколько минут поговорили. Поговорили о моей службе, о знакомых, нельзя же так вдруг начинать; но, поговоривши, я перехожу к делу: «Позвольте мне, Василиса Семеновна, прямо объяснить вам цель моего посещения». — Она и приготовилась слушать; я повторил ей обстоятельнее о своем положении, говорю, что моя хорошая репутация должна быть известна вам. «Да, говорит, я ничего, кроме хорошего, не слышала о вас». —

«Поэтому, я говорю, имею смелость просить вас осчастливить меня согласием на брак с вашей дочерью». Она подумала с минуту и говорит: «Вы знаете, Егор Данилович, что в нынешнем свете родители не должны присвоивать себе такую власть, чтобы располагать рукою дочери без ее согласия. Потому прошу вас, пожалуйста за ответом завтра». — Я отвечаю: «Если в вас я нахожу согласие на мое пламеннейшее желание быть покорным и почтительным вашим сыном, то я просил бы не отлагать вашего ответа». — «Стало быть, вы имеете согласие моей дочери?» — Я говорю: «Я не имею ее согласия, Василиса Семеновна, сказать это было бы слишком много; но мне кажется, что я могу надеяться, что я не буду противен ей». — «Ах, молодые люди нынешнего света!» — отвечает Василиса Семеновна: — вижу, что и вы поступили по нынешнему обычаю: сначала жених получил согласие невесты, потом приехал просить согласие матери. Если так, то не остается мне ничего, как сказать, что я одобряю выбор моей дочери, и очень рада иметь вас моим сыном. Пойдемте к невесте, жених». Встала, и я встал за нею; у них четыре комнаты на улицу: зал, за залом гостиная, за гостиной еще комната, а за этою комнатою чайная или диванная. — входим мы с нею в эту диванную, там сидят все три дочери: одна за столом, смотрит шитье, две другие — на другом диване, говорят, — я к этому дивану подхожу и беру за руку Софью Зиновьевну, — а Василиса Семеновна впереди меня вошла, идет к столу и, подошедши, обернувшись, будто я должен быть подле нее, — обернувшись и, увидавши, что я взял за руку Софью Зиновьевну, говорит с удивлением: «Как, вы Софью? А я говорила вовсе не о Софье, а об Марье». — «Нет, я говорю. Василиса Семеновна, я, говоря с вами, имел в мыслях моих Софью Зиновьевну и полагал так, что это вам известно, если вы не спрашиваете». — «Ах, батюшка мой, чего же было мне спрашивать? Кто ж выдает среднюю дочь прежде старшей? И особенно, когда жених не упоминает, то кого ж может иметь мать, как невесту, если не старшую дочь?» Вы понимаете, какое неожиданное расстройство для всех! И я растерялся, и она, и Софья Зиновьевна, и те обе дочери. — Но первый я оправился: «Из этого я понимаю, что вы, Софья Зиновьевна, не предупредили вашу матушку». Она покраснела, бедная, и говорит: «Нет». — «Это точно, как же ты не предупредила меня, Софья? Тогда не вышло бы этого конфуза». Она заплакала. — «Маменька, простите меня, я не успела: вечером не хотела вас беспокоить и не посмела, потому что вы уже легли почивать, когда мы с братом приехали от Решеткиных, а поутру, когда я встала, вы уже уехали на рынок». — «Успокойся, мой друг, Сонечка — мать успокаивает ее: — вижу, что ты не так виновата». — Видите, объяснилось теперь: с рынка она прямо проехала к обедне, сама слезла, а кучеру велела отвезти провизию; а от обедни

привела с собою инспекторшу, — и от этих случайностей дочь не успела объясниться с нею о нашем вчерашнем разговоре. Кого винить, хотя случай вышел очень неприятный, не правда ли, некого?

— Некого, это правда.

«Позвольте же просить вас, — говорит она: — Возвратимся объясниться нам с вами». Ушли мы с нею опять в гостиную. «Я должна вам сказать, что ни под каким видом не могу согласиться выдать среднюю дочь прежде старшей. Это не в законе. И вы не знаете материнское сердце: дети, как пальцы, которого ни коснись поранить, одинаково больно. Как я решусь обидеть мою Машу? Никогда не соглашусь». Я стал настаивать, что влюблен в Софью Зиновьевну, и говорил очень хорошо, с большим чувством. Она совершенно вошла в эти мысли и говорит: «Против этого всего я ни слова не могу возразить, совершенно понимаю ваши чувства и уважаю их. Но правилу моему изменить не могу, не могу старшую дочь обидеть». Бились, бились мы с нею, но тем и кончился наш разговор, что она говорит: «Я не вижу никаких других средств, кроме как два: или вы должны ждать, пока пошлет бог жениха Маше, или перемените ваш выбор». — Я тоже понимаю ее затруднение, но и мне нельзя вдруг решиться: как же, нельзя в две минуты решиться на такую перемену, особенно когда чувствовал себя влюбленным. Говорю: «Позвольте мне подумать об этом, Василиса Семеновна». «Подумайте, батюшка». Я взял срок себе до вечера. Стал думать. Марья Зиновьевна показалась мне больше в моем вкусе: у Софьи Зиновьевны серые глаза, а у Марьи Зиновьевны — голубые, голубые лучше. У Софьи Зиновьевны меньше румянца, и все не так пышно, как у Марьи Зиновьевны. Потому что, оправившись от первого моего расстройства, я мог рассмотреть ее. Но мало. На том и остановился: нравится; но мало рассмотрел. Приезжаю после обеда, говорю: «Позвольте мне видеть Марью Зиновьевну, чтобы прежде мог я убедиться, что не буду противен ей». Та говорит: совершенно так, против воли не станет отдавать дочь, и надобно, чтобы девушка знала, за кого ее отдают. Вызвала Марью Зиновьевну. Так мы втроем сидели, но чем больше я гляжу на Марью Зиновьевну, тем больше она мне нравится, а потому я, видя, что напрасно было бы продолжать длить мое затруднение, говорю ей: Марья Зиновьевна, прошу вас осчастливить меня вашим согласием. Она согласна. Только, больше ничего не было. Верите ли вы мне, как благодарному человеку?

— Совершенно; тем больше, что и в городе рассказывают совершенно так. Только одно: незнающие говорят, что вы прежде того видели Харитовых в театре.

— Никогда. В первый раз у Решеткиной, и одну Софью Зиновьевну, как я вам говорил.



— Впрочем, эта разница неважная, видели ль вы их в театре раз или два.

— Нет, позвольте: тогда я имел бы время рассмотреть прежде и сравнить, и моя перемена показала бы во мне неосновательность.

— Да, это правда.

— Потому-то я и прошу вас, объясняйте всем вашим знакомым, как именно было.

— С удовольствием.

#### 4

### СХОДСТВО МНЕНИЙ

(Вымышленная сцена)

Разговаривающие: Господин X.

Госпожа X.

Господин N.

Господин X. Извините откровенность, но я скажу вам прямо: я люблю, чтобы в рассказах был хоть какой-нибудь смысл.

Господин N. Я совершенно схожусь с вами в этом.

Господин X. Но если так, милостивый государь, то что же это такое? Тут нет никакого смысла. Я не вижу.

Господин N. И я не вижу.

Господин X. Но если так, то я должен сказать вам: я никак не ожидал от вас этого.

Господин N. Ваши ожидания не нуждаются в моем согласии.

Господин X. Но, однако, я хотел бы знать, что вы скажете на это.

Господин N. Я полагаю, что вы имели основание не ожидать.

Господин X. Но этих рассказов не стоит читать.

Господин N. Я полагаю, что вы прав.

Госпожа X. Правда ли, что [вы] эмансипатор?

Господин N. Правда.

Господин X. Поверь, мой друг, что все это глупости и химеры.

#### 5

### ИЗ БХАГАВАТ-ГИТЫ<sup>1</sup>

— Папаша, какая длинная поэма есть у индийцев: в двести тысяч стихов; ее зовут Махабхарата. Ты читал ее?

— Да и ты читал «Наль и Дамаянти», это из нее.

— Из нее! ах, как это скучно, папаша! А еще что есть в ней?

— Кроме этого, я читал из нее только Бхагават-Гиту.

— Это что такое?

— Философский разговор, мой друг; это еще скучнее «Наля и Дамаянти»<sup>2</sup>.

— Ну, а ты все-таки скажи.

— Пожалуй; только я читал это очень давно; из всех имен только одно помню, и то забыл, кто этот Арджунас, тот ли, который говорит, или тот, который слушает, — ну, да это все равно. А дело, видишь, в чем: стоят две армии; в одной из них этот Арджунас, — или предводитель ее, или приятель этого предводителя. Надобно начинать сражение, предводитель должен подать знак тем, что пустит стрелу. Он поднимает лук, кладет стрелу, натягивает лук и медлит, и руки его падают, — вот и начинается разговор, — если я уж забыл, кто Арджунас, и как зовут другого, то уж ты можешь сам видеть, что не припомню я и разговора в подробности, — да оно и лучше, впрочем, потому что он очень длинен, а у меня на твоё счастье выйдет коротко. Ну, слушай, — это будет в том тоне, в тоне индийских поэм, — только попроще:

— О божественный, что ж ты медлишь, и упал дух твой вместе с рукою твоею?

— О, божественный! Ты видишь эти войска: как много будет убитых! И дух мой упал.

— О, божественный! Читал ли ты книги мудрецов?

«Что значит твоя воля, о человек? У тебя нет воли.

«Как падет камень, так падешь ты на того, кого подавишь.

«Как растет банан на пищу людям, так растут твои дела на пользу тем, кому приносят пользу.

«Что ж тебе смущаться? Совершай то, чего не можешь не совершать.

«Будет зло — не вини себя: ты камень; будет добро — не хвали себя: ты банан.

«Натяни лук твой, о божественный, и пусти стрелу.

«Войска ждут, они хотят битвы.

«Кто победит? Кто уцелеет? — Думай или не думай об этом, но войска ждут, они хотят битвы».

Так сказал божественный мудрец.

И божественный вождь поднял лук, понеслась стрела, и пошли полки в битву.

— Это, папаша, хорошо тем, что коротко.

— Нет, там это целых сто страниц, я думаю.

— Сто страниц! Это ужасно!

## 6

### НА ПРАВОМ БОКУ

Алексей Флегонтович очень важный вельможа, сударь: один из первых у нас в губернии; прежде, сударь, ничего особенного не замечалось в нем: жил, как все холостые господа. И в Курск

ездил; на выборы всегда, и в другие времена приезжал, по зимам. В карты играл; и по большой. Шампанское пил; обеды давал. Все как следует хорошему барину. Метрески тоже были, по несколько: занимался и этим. И как он был характера мягкого, то метрески большую волю имели над ним; однакоже в границах приличия: и неприличного ничего не замечалось.

И вдруг, сударь мой, приехала в Курск представлять московская актрерка Мичманова. И надобно ж было на грех ехать ей из Курска в Харьков, — ну, тут дорога лежит через Алексей Флегонтовичево поместье. С нею провожатый был, — тоже помещик, но из мелких, — последние деньги прокучивал, продавши имение, — потом сам в актеры пошел: имел эту страсть. Ехали они, сударь, не спеша, и завез ее этот провожатый в гости к Алексею Флегонтовичу. Было дело к вечеру; ужинали это, развлекались, и очень она приглянулась Алексею Флегонтовичу. Было ли тут между ними что, или нет, не умею доложить вам, а только что она говорит на его приглашение, что теперь, говорит, не могу принять вашего гостеприимства, потому что ждут меня в Харьков, я же своему слову никогда не изменяю, и тем больше, как тоже имею свои обязанности в Московском театре, от которого не желаю отказаться. Но на обратном пути из Харькова, если буду иметь свободное время, то заеду к вам, чего, впрочем, не надеюсь на верное.

Это она говорит ему, два дня прогостивши, и собирается ехать.

— Да я, говорит, не нравлюсь вам, Зинаида? (Ее звали Зинаидою.)

— Чем же, говорит, тебе мне не нравится? Человек ты добрый, ко мне привязался, будешь угождать; летами ты еще совсем не из стариков (и точно, ему тогда еще далеко не было до сорока лет), лицом ты красивый (это точно, красив был). Толстоват немного, один недостаток, да это у всех у вас: живете по деревням, жиреете. А только, Алексей, при мне других чтоб уж не было: я на это взыскательна. А так, ты мне нравишься. Полагаю, что заеду, только верного слова не даю: не знаю, будет ли время. — И уехала.

Ждет он ее, сударь, с таким мучением, как бы мальчишка какой. Каждую почту письма ей пишет, умоляет: «Полная ты у меня госпожа будешь, и Парашу я уж пристроил, — если перед вами, сударь, греха не скрывать, то за меня и пристроил-то. Впрочем, я не могу этого назвать стыдом себе. Видел, не зазнается, бывши полубарынею, так уж наверное, что хорошая девушка. И надобно сказать, что имела расположение ко мне; говорила: если бы, говорит, бог устроил, чтоб Алексей Флегонтович потерял свою любовь ко мне, вышла бы я за тебя, когда бы ты не побрезговал. — А что ж, сударь, брезговать-то? Где не таких-то найдешь, в нашем звании? Наше звание точно та-

кое же в этом деле, как и господское. Это у купцов, у мещан, у мужиков во многих местах, точно, есть другое обыкновение держать себя в девицах. А в нашем звании где ж этого требовать?

— Вы, Иван Прокопич, не были ли волокитою смолоду, что так отзываетесь?

— Не был, сударь; хотя, конечно, не без греха провел молодость, но мало могу сказать про себя дурного с этой стороны. А рассуждаю так по рассудку и потому, как всякому известно, что в нашем звании соблазн велик для девушки; часто и принуждение бывает. А что исключения, точно, бываюг, и даже немало, как и в господском звании, это я всегда скажу. Но только я то хотел сказать, чтобы, как вам это объяснить, — себя перед вами оправдать.

— Понимаю, Иван Прокопич.

— Потому что она скромно себя держала. И когда увидела, что Алексей Флегонтыч стал мало ею заниматься, она даже была рада этому, потому что, как вам сказал, получила надежду. И в это время мне и открылась, что я, мол, ваше внимание ко мне замечаю, Иван Прокопич. Тогда я такую смелость взял, что упал в ноги Алексею Флегонтычу и говорю, что при всей моей к вам привязанности, должен я вашу службу оставить.

— А вы у него по найму служили камердинером-то?

— Как же, сударь, я из мещан. — Почему ж это? — он говорит.

— Потому это, я говорю, что сердце мое не может терпеть, имею несчастье, что Прасковья Ивановна не может собою располагать. — А он засмеялся: отбил ты, говорит, ее? — Нет, я говорю, как же бы я стал к ней с такими словами обращаться, и она бы стала ли вас обманывать? — «А это, говорит, ты, братец, правду говоришь». — Такой у него характер был легкий и мягкий, и хотя метрески большую власть имели над ним по этому самому, но как он был очень непостоянен, то не имел к ним привязанности, — или, как бы вам это сказать, та ли, другая ли, ему все равно, лишь бы женщина была. И это даже редкое время было, что тогда одна у него была.

Вот, сударь, таким образом, повенчавши нас с Прасковьєю Ивановною, пишет он это Мичмановой, что, говорит, такую я страстью к вам проникся, что даже никакого женского лица видеть не могу, кроме вашего, и буду несчастнейший человек. Но как от нее ответы все такие же, что то ли буду, то ли нет, то он даже такое нетерпение получил, что говорит мне: собирайся в Харьков, едем. Поехали, и уговорил он ее, не только в гости к нему приехать, а даже в отставку выйти с Московского театра, и поселилась она у нас навсегда. Стали хорошо жить, и это долгое время было, года четыре. Но только, чем же это кончилось? — Вот тем самым, что вы изволите видеть. И вот как это



вышло. Ушла она поутру гулять, — через час присылает девушку сказать, чтобы не ждал к обеду: я, говорит, у соседей останусь, — тут, в двух верстах, небогатые люди живут, она с ними водила знакомство. Пообедал он один и лег почивать после обеда. Просыпается он и кушает чай в постели, потому что это он, точно, всегда любил лежать, — и в это самое время приносит ему письмо та же самая соседская девушка, которая была поутру. Что же ему пишет эта Мичманова? — потому что письмо от нее было: «Хоть ты и добрый человек, Алеша, и жалко мне бросать тебя, говорит, но скука меня одолела, и по театре давно скучаю и по Москве с Петербургом» — ну, точно, что она женщина молодая и бойкая, живая, как же не скучно? — «И вот тебе, говорит, выбор, Алеша: если ты за мною не поедешь, уговаривать меня возвратиться, то может быть, что я и возвращусь; если же поедешь, то навеки веков ссора будет. Поэтому, друг мой Алеша, советую я тебе, чтобы ты приказал Параше», — то есть моей жене, сударь, которая горничною у ней была, или больше, так сказать, смотрела за другою прислугою, — «прикажи ты ей собрать мои вещи, да и пришли мне их с Иваном Прокофьичем», — со мною, — «в Курск, в который я уехала». Вот тебе раз, сударь! — Прочитавши это, кликнул он меня, — глаза у него заплаканные: — «Вот что, говорит, вышло, Иван Прокофьич; распорядитесь вы с женою, как она пишет». Пошел я сказать Параше собирать ее вещи. Провозились над этим вечер. В десять часов прихожу к нему укладывать его спать, — а он, сударь, как тогда лежал, так и лежит: «ничего не нужно, говорит, я не вставал». — Поутру пришел одевать его, — то же самое, «ничего, говорит, не нужно; я так останусь». Так, сударь, и пролежал до обеда, а мы с женою ее вещи укладывали, — и самому мне тоже все-таки сборы в дорогу были же, хоть и небольшие. Пришел я к нему, «пожалуйста обедать», зову. — «Нет, говорит, сюда в постели давай; что вставать-то?» — Так и поел, лежа. Пообедавши сам, прихожу к нему, говорю: «Все собрано, Алексей Флегонтович», — потому что он простой и обходительный, давно мне сказал: что, говорит, «барин» да «барин», надоест одно и то же; зови по имени, — так я и звал его по имени-отчеству, — «все собрано, говорю: — ехать прикажете?» — «Ступай», говорит. — «Что от вас прикажете сказать Зинаиде Петровне?» — «Скажи, как ты меня оставил, и что буду я лежать, пока она воротится».

С тем я уехал; через неделю возвратился: и точно, лежачего застал. А она посмеялась: «пусть полежит, говорит: — соскучится. А от меня ему скажи, что, может, и ворочусь, а скорее, что нет». — «Ну, что, говорит, она с тобою какое решение прислала мне?» — Вот какое, говорю. — Он вздохнул, сунул руку под подушку: «Хорошо; спасибо, Иван Прокофьич, что съездил; ступай, ничего больше не нужно». — «Встали бы, Алексей Фле-

Гонтыч, — потому что жена мне сказала, что не вставал всё время, — пройтись бы изволили». — «Ступай, Иван Прокофьевич, что об этом говорить». — Так я и ушел. Так и пошло с тех пор.

— Неужели так с тех пор и лежит?

— Как изволите видеть. Пятнадцатый год лежит. Ни разу, сударь, ни на пять хоть бы минут не вставал. Как перед богом, истинная правда.

— Это удивительно.

— Так удивительно, что и сказать нельзя. Мы даже думали с женою, — тогда, вначале, через год, этак, не поджечь ли бы дом? — пропадай он прахом! — может, что, поднявшись, на другой постели в другом доме не залег бы так. Да посоветовались с исправником, он отсоветовал: что следствие подымется, и беды себе наживете наверное, вся губерния умысел этот поймет: «подожгли нарочно, чтобы поднять», — все так гулом загудят; как будет скрыть? — подымется ли, опять ли так и на новом месте заляжет. — И что всего удивительнее, сударь: губернатор по губернии ездил, к нему заезжал: даже для такого гостя не вставал: «Извините, говорит, ваше превосходительство, не примите этого за невежливость, потому что не могу, зарок такой дал». И не обиделся губернатор; уговаривал его, что подымитесь. И губернатор не мог убедить. Тогда уж все увидели, что напрасно итти против этого.

И хотя бы, сударь, отдых себе делал побольше: на спине бы день пролежал, другой на левом, — а то все, как видели, на правом. Как только это письмо прочитал на правом боку, так и лежит».

Я просидел с Алексеем Флегонтовичем несколько вечеров, живши то лето по соседству. Мы играли в пикет; он теперь следит за литературою: до своего лежания он был круглый невежда; но от скуки принужден был приняться за книги, и когда я познакомился с ним, он был человек порядочно начитанный.

Но все-таки я не знаю, может ли здоровье выдержать пятнадцать лет лежания на боку? Не вставал ли он по ночам, хоть иногда, хоть на час, на два, чтобы сколько-нибудь промяться?

Иван Прокофьевич положительно был уверен, что нет, не вставал ни разу.

## 7

### ПОКРАЖА

— Мы пришли к вашему преосвященству с покорнейшей просьбой.

— Прошу садиться, и посмотрим, в чем она.

Братья сели. Оба были уже пожилые люди, купцы второй гильдии; один был ротмистром.

— С просьбой об отце. Вашему преосвященству неизвестно, быть может, что он держит себя совершенно не по своим летам. Стыдно говорить, а необходимо. Она интриганка и женщина очень дурная. Он совершенно в ее руках, и теперь она велит ему жениться на ней. Мы имеем теперь свои капиталы. Но от второго брака его у нас есть две сестры и брат. Брату 20 лет, сестры невесты. Она отнимет у них все, если ей удастся повенчаться с ним.

— Но он так дряхл, говорят.

— Более чем дряхл, ваше преосвященство; разбит параличом. Не может сделать двух шагов, даже если опираться будет. Водят его под руки, с обеих сторон надо держать.

— Так чего же вы опасаетесь?

— Она его так и обведет вокруг налож, двое таскать будут.

— Что же я могу сделать? Я скажу священникам, что запрещаю венчать его. Но никто из здешних священников не стал бы венчать и без моего запрещения. Вы знаете, они все люди добросовестные. Чему ж это поможет, однако? — Вы знаете, есть два таких благодетеля: один — на Увек, другой — в Курдюме. Такие ли браки венчают? — Оба под судом; но они этого не боятся. А за вашего батюшку нельзя будет и предать суду: он в здравом уме, законных препятствий нет. Все, что могу, сделаю, но мое запрещение бессильно над такими людьми.

Купцы поехали к губернатору. Губернатор также сказал, что прикажет полиции внимательно смотреть за вдовою чиновницею Балдуиновою; — но что же может сделать с нею полиция? — Если бы вдова подала малейший предлог, он обещает им скрутить ее по рукам и ногам, но что, наверное, она будет держать себя так осторожно, что нельзя будет придраться к ней.

— Поэтому и я должен прибавить вам: я плохая защита вам, господа.

— Мы будем просить ваше превосходительство о следующем: мы будем караулить старика; не примите этого в дурную сторону.

— Помилуйте, я знаю вас. Не приму от нее никаких жалоб; если она будет посылать ябеды в Петербург, я объясню дело. Я не могу сомневаться, что вы будете соблюдать все уважение к старику.

— Мы боимся ее умысла не только за состояние отцовское, за самую жизнь его: она, повенчавшись, заставит его подписать завещание в ее пользу, а потом удавит или отравит.

— Очень возможное дело от такой женщины, господа. Я знаю ее. У ней были дела.

Все это была чистая правда, известная всему городу. Дети были хорошие люди. Старик ослабел умом и характером от лет и еще больше от паралича. Эта госпожа Балдуинова была очень смелая и ловкая пожилая баба, старинная интриганка.

Обеспечив себя этими объяснениями с начальством от всяких сплетен и ябед со стороны Балдуиновой, сыновья стали караулить оглупевшего параличного. Его возили кататься по городу и за город каждый день, но с конвоем: выбрали надежного кучера, сажали в провожатые надежного приказчика, если не провожали сами. В комнату к старику не впускали людей. Купеческие дома и вообще стояли тогда с затворенными воротами, а подъезды у домов тогдашней нашей провинциальной постройки всегда были со двора, — теперь у ворот и днем, а тем более ночью, стоял караул. Казалось бы, безопасно.

И все-таки через несколько месяцев город ахнул: старик купец N сочетался браком с г-жею Балдуиновой.

Она украла его.

Ее сообщники выбрали темную ночь, приставили лестницу к окну стариковой комнаты, — он был помещен во втором этаже, — разбили окно известным воровским методом, без звона стекла, — намазав медом или жидким тестом лист бумаги и продавив стекло через эту наклейку, — взяли старика, спустили на простыне по веревкам, — и поскакали в Кврдюм.

Они предусмотрели и то, что он не может ходить: в Кврдюм было привезено кресло на колесах, и жениха возили на нем вокруг налож.

Но трагические опасения детей и всего города не сбылись. Молодая удовольствовалась дарственными записями, векселями и не сделала ничего преступного.

Если не ошибаюсь, она через несколько времени даже отдала старика назад детям, взяв с них плату за него, и довольно умеренную, только третью или четвертую долю его состояния.

## 8

### СЦЕНА ВТОРАЯ

Разговаривающие лица те же (смотри № 4).

Г о с п о д и н X. Но, милостивый государь, все это не имеет никакого смысла.

Г о с п о д и н N. Вы уже говорили это, я сказал, что согласен с вами.

Г о с п о д и н X. Но, милостивый государь, это глупо.

Г о с п о ж а X. Друг мой, пожалуйста.

Г о с п о д и н X. Благодарю тебя; постараюсь воздержаться — хоть это заслуживает самых резких выражений. Это небывальщина, милостивый государь; это дикие уроды, каких никогда не бывало на свете; никогда ничего подобного не дельвали люди. Потому я употребил выражение, которого не хочу повторять.

Г о с п о д и н N. Вы прав, это глупо.

Г о с п о ж а X. Послушайте: вы знаете, что я очень люблю вас.



Господин N. Знаю. И смею сказать, я заслуживаю этого.

Госпожа X. Сознаться же: вы этим унижаете себя.

Господин N. Я вижу, что огорчаю вас. Унижаю ли себя? на это я не скажу ничего.

Госпожа X. Больше, чем огорчаете, — вы обижаете меня.

Господин N. Это было не для вас.

Госпожа X. Прошу вас, думайте только обо мне, — я хочу сказать, о нас.

Господин N. Вы правы.

Госпожа X. Скажите, какую цель имело это.

Господин N. Вы не угадываете?

Госпожа X. Это была насмешка.

Господин N. Не над вами.

9

### СВАТОВСТВО ГЕРЦОГА СЕН-СИМОНА

— Папаша, это какого Сен-Симона? От которого взяли свое имя Сен-Симонисты?

— Нет, мой друг, его прадеда или прапрадеда, от которого осталось знаменитое сочинение, — огромные мемуары.

— Папаша, он был умный?

— Все так говорят; удивляются его уму.

— Ну, так это любопытно, папаша.

— Вот ты, мой дружок, и переведи эти странички.

(Через два дня)

— Папаша, я перевел. Этот Сен-Симон был очень...

— Ну, какой он был, это ты скажешь после, а сначала прочти перевод.

(Перевод из *Mémoires du duc de Saint Simon*, издание 1856, в 18 томов, том I, глава VIII, стр. 73—75)<sup>3</sup>.

«Мать очень желала, чтоб я женился. Я был не против этого.

Герцог Бовиллье был приятель с моим покойным отцом и оказывал мне ласку, когда видел меня во дворце. Его добродетель, кротость и обходительность очаровывали меня. Прекрасная репутация его супруги и счастливое согласие их жизни также. Неприятно было, что нельзя рассчитывать на большое приданое, которое было бы нужно мне на уплату долгов, оставленных отцом: у герцога и герцогини Бовиллье было десять человек детей, два сына и восемь дочерей. Однако же я решился, и матушка одобрила.

Я отправился в Версаль и попросил Лувилля сказать герцогу Бовиллье, что я желал бы видеть его наедине. Герцог отвечал, что вечером, в 8 часов, он будет свободен и что я могу видеть его. Я вошел в его кабинет в назначенное время, объяс-

нил ему цель своего посещения, подал ему опись моего состояния и моих доходов и сказал, что буду доволен всяким приданным и прошу у него только одного: чтобы он осчастливил меня, отдав мне руку своей дочери.

Он пристальными глазами смотрел на меня, пока я говорил, и отвечал мне, что он человек небогатый, что он должен переговорить с женою; — ушел на несколько минут переговорить с нею; возвратившись в кабинет, сказал, что старшей дочери его пятнадцатый год, что вторая дочь больная девочка, которую нельзя выдавать замуж; третьей дочери тринадцатый год; другие — маленькие дети».

— Папаша, верно, у них тогда отдавали замуж таких же молоденьких, как бабушка говорила, у нас отдавали, тринадцати, даже двенадцати лет? — Ах, какие были дураки!

— Глупы, твоя правда. Читай дальше, как ты перевел.

«Он продолжал, что старшая его дочь хочет постричься в монахини, и повторил, что он не может дать большого приданого.

Я отвечал, что он из самого моего объяснения мог видеть, что я интересуюсь не приданным, и даже не его дочерью, которой я никогда и не видел, а что, собственно, очень уважаю его и его супругу.

— Но, сказал он, если она непременно хочет идти в монахини?

— В таком случае, сказал я, прошу у вас руку третьей вашей дочери».

— Ты очень верно перевел, мой друг; благодарю тебя, что ты помог мне в работе.

— Папаша, он был дурак.

— Рассуждай об этом, дружище, сам, как знаешь, но я должен предупредить тебя, что все считают его очень умным человеком. Знаешь Маколея? — Если бы ты прочел, в каких выражениях говорит о нем Маколей!

— Ну, нет, папаша, пусть Маколей говорят, что хотят, а он дурак. Как же?

— Суди сам, как знаешь. А я вижу только, что ты перевел верно. Что будет дальше, посмотрим, так же ль верно.

## 10

### ГЕРЦОГ АЛЬБА<sup>4</sup>

(Mémoires de Saint Simon, том 3, глава III, стран. 29)

«Герцог Альба, умерший в ноябре 1701 года...»

— А что, это не тот ли герцог Альба, который так прекрасно отличался в Нидерландах?

— Э, папаша, какой ты! Разумеется, не тот. То было много

прежде. Будто я не понимаю, что ты меня экзаменуешь? А по-моему, так: если хочешь экзаменовать, то экзаменуй, а если разговариваем, то надобно просто разговаривать.

— Это твоя правда. Извини, брат.

— А ты слушай, так ли:

«Герцог Альба, умерший в 1701 году, был человек очень умный, образованный, но чрезвычайный чудака. Лувилль, приехав к нему...» Кто это был Лувилль, папаша?

— Так, вроде французского посланника в Испании, хоть не назывался посланником.

«...приехав к нему, нашел его лежащего на постели, на правом боку: он лежал так, не двигаясь с места, уже несколько месяцев и говорил, что не в силах встать, болен, — а между тем был совершенно здоров. Дело в том, что женщина, которую он любил, соскучившись жить с ним, уехала от него. Он был в отчаяньи, разослал отыскивать ее по всей Испании и дал обещание лежать на правом боку не вставая, пока она будет найдена и возвратится. Разговорившись с Лувиллем, он признался ему в этом. — Он принимал у себя всю аристократию, лежа таким образом, и пролежал до самой своей смерти, ни разу не встав, и все на правом боку. Эта дикая история так удивительна и, с тем вместе, так достоверна, что я почел своим долгом записать ее; повторяю, кроме этой фантазии, он во всем остальном был и продолжал быть человеком рассудительным, очень умным».

— Хорошо переводишь. Но как ты объясняешь себе это?

— Папаша, дураку было нечего делать, вот он и выдумал глупость, чтобы все дивились.

— Это так, продолжал он, вероятно, поэтому, а как начал?

— Начал? — начал, я думаю, потому, что многие ложатся в подушки и лежат, когда плачут, — ведь он был огорчен. Ну, слушай опять, что будет дальше.

— Вижу, мой друг, по этим двум примерам, что ты хорошо переводишь. Благодарю тебя.

## 11

### СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Разговаривающие — те же (смотри № 4 и № 8).

Господин X. Но, милостивый государь, это недобросовестно.

Господин N. Я полагал услышать от вас это мнение.

Господин X. Но, милостивый государь, вы должны согласиться, что оно справедливо.

Госпожа X. Не слушайте его, — мы с вами уговорились, что вы не будете думать ни о ком, кроме меня, — то есть нас, я хотела сказать. Скажите, пожалуйста: чем он навлек на себя эту насмешку?

Господин Н. Я только шутил; я не хотел, чтоб это была насмешка.

— Г о с п о ж а Х. Но послушайте, не шутите так: помните, что он мой муж. Вы помиритесь?

Господин Н. Если вам угодно.

## 12

### ПИСЬМО

«Милостивейшая государыня.

Вы не читаете ничего, кроме романов, повестей, — всего, что серьезные люди называют вздором.

Конечно, с ученой точки зрения я не могу не порицать вас, я на все смотрю с ученой точки зрения.

Но, при всей моей учености, я человек, не совершенно лишенный способности понимать людей как человек.

Я очень хорошо чувствую, что вы могли бы спросить меня: читаю ли я книги, в которых нет ровно ничего, относящегося к моей жизни, моим интересам и занятиям, или изредка попадают строки, не совсем чуждые мне, но они утопают в бесчисленных страницах, на которых нет ни одного слова для меня.

Нет, милостивейшая государыня, не читаю.

Есть множество прекрасных сочинений об устройстве мукомольных мельниц, о разведении табаку, о возделывании индиго, я не читал ни одного из них.

Я понимаю, что поэтому вам нечего читать, кроме романов, рассказов и всяких сказок.

Но почему же вы полюбили меня, человека сухого, вялого, не сказавшего ни одного комплимента во всю жизнь, всегда дичившегося женщин, никогда не нравившегося ни одной женщине, и — очень может быть — человека, которому никогда не нравилась ни одна женщина, кроме \*\*\*, — о котором, по крайней мере, ни одна женщина, кроме нее, не может сказать, чтобы он обращал на нее какое-нибудь внимание?

Вы полюбили меня потому, что нашли во мне некоторую способность сочувствовать вашему положению. Она дана мне тем, что я, хоть и довольно плохо, но все-таки довольно много учился. Вы видите из этого, что в науке есть что-то близкое вашим интересам, и вы желали бы, чтоб я говорил с вами о ней.

И я очень желал бы этого, — конечно, говорить на бумаге; я не люблю говорить с женщинами, кроме \*\*\*, иначе, как на бумаге.

Препятствий нет никаких, неудобств нет ни малейших.

И все-таки я не исполняю вашего желания, которое так рад был бы исполнить; говорить об ученых предметах — моя страсть.



Почему ж не исполняю того, что было бы приятно мне и чего требуете вы? — Я боюсь, что вы не станете слушать.

Это обидно! — скажете вы. — Очень обидно, я согласен. Но — я сильнее вас, — следовательно, почему ж бы мне не обижать вас? — Согласитесь, это было бы странно: не обижать, когда имею силу».

## 13

### ПИСЬМО

«Милостивый государь.

Я не ждала от вас любезного ответа.

Вы, может быть, и очень ученый человек, — я не могу судить об этом и охотно верю вашей репутации, но я вижу, что вы пустой человек.

Это обидно! — скажете. — Очень обидно, я согласна. Но я слышала, что наука любит правду, а вы уверяете, что страстно любите науку: кстати, не она ли скрывается в вашем письме под таинственными тремя звездочками?»

### ЭТО НЕ СКАЗКА

(из Дидро)

— Папаша, ты так похвалил мои переводы, что вот я сделал еще; уж это сам выбрал, и это лучше твоих. Посмотри-ка.

— Из Дидро? Чего же смотреть! — годится, братец; очень благодарен.

...Правда, бывает, что «она» дурной человек, а «он» — хороший человек. Но бывает и наоборот; то была не совсем сказка, а это будет и вовсе не сказка\*.

— Верю.

— Д'Эрувиль...

— Этот, которого мы знаем? Генерал-лейтенант, женившийся на очаровательном существе, которое было известно под именем Лолотты? \*\*

\* Это уверение обыкновенно бывает равнозначительно удостоверению, что будет рассказываться выдуманная история. Но здесь оно буквально справедливо. Дидро не прибавляет ни одной черты ни в лицах, ни в происшествиях: все было совершенно так, он рассказывает историю m-elle де ла Шо; описывает характеры и отношения ее, Гарделя, Камюса с полной точностью. — Нежон (издатель полного собрания сочинений Дидро; сам Дидро, говорящий о себе в первом лице, также говорит о себе без всяких выдумок). [Примечание Н. Г. Чернышевского.]

\*\* Граф д'Эрувиль, автор *Traité des légions* (О легионах), Paris, 1757. Его хотели назначить военным министром, но женитьба его на Лолотте, — слишком неравный брак, — помешала этому. [Примечание Н. Г. Чернышевского.]

— Он самый.

— Это умный и ученый человек.

— Да. Он хотел написать всеобщую военную историю.

— Труд огромный.

— Он долго работал над ним; взял на помощь себе несколько молодых людей, очень даровитых; например, в числе их был Монтюкла, автор «Истории математики».

— Монтюкла! Это великий ученый.

— Гардель, о котором я стану вам рассказывать, был человек не менее даровитый. Мы с ним в то время были в горячке страстного желания выучиться по-гречески, — это и сблизило нас; тем больше, что мы и жили недалеко друг от друга.

— Вы жили тогда на Эстрападе.

— А он в rue Saint Hyacinthe; а его подруга, m-elle де ла Шо, на place Saint-Michel. Я прямо называю ее фамилию, потому что ее, несчастной, уж нет на свете, и потому, что порядочные люди будут с уважением произносить это имя, когда узнают ее жизнь.

— Ваш голос задрожал... Да у вас на глазах слезы?

— Она и теперь, как живая, стоит передо мною, с своими большими черными глазами, блестящими и кроткими, и нежный ее голос звучит в моих ушах и волнует тоскою мое сердце. Очаровательная, несравненная! Тебя уж нет! Теперь уж скоро двадцать лет, как нет тебя, а мое сердце все еще сжимается, когда я вспоминаю о тебе.

— Вы любили ее?

— Нет. О, дивная девушка! И ты, Гардель, был дивом благодарности! — Она была из хорошей фамилии. Она бросила родных, увлеклась Гарделем, бежала. У Гарделя не было ничего. У ней было небольшое наследство; она отдала все его на надобности и прихоти Гарделя. И не жалела ни о прожитом состоянии, ни о потере своей репутации: Гардель заменял ей все.

— Значит, он был очень любезен, хорош собою?

— Нисколько. Маленького роста, сутуловатый, угрюмый, желчный, с осунувшимся лицом, желтый, — очень невзрачная фигурка, и дурен собою настолько, насколько может быть дурен мужчина с умным выражением физиономии.

— И такой человек вскружил голову очаровательной девушке?

— Это вас удивляет?

— Да, не могу привыкнуть к этому.

— Д'Эрувиллю хотелось, чтобы труд его шел быстро, он заваливал работою своих помощников. Здоровье Гарделя стало страдать от этого. Чтобы облегчить его работу, m-elle де ла Шо выучилась по-еврейски, переводила и комментировала отрывки из еврейских писателей, — и Гардель отдыхал. Пришла очередь делать выборку из греческих писателей, она выучилась по-гречески. Гардель спал, она переводила отрывки из Ксенофонта и

Фукидида. Она знала также по-английски, по-итальянски. По-английски так превосходно, что перевела метафизические трактаты Юма. Устав писать, она отдыхала, гравирова ноты. Если замечала, что ее друг скучает, пела, чтобы развлечь его. Я ничего не преувеличиваю; можете спросить у доктора Камюса, который утешал ее потом, помогал ей, неизменно служил ей, не покидал ее на чердаке, закрыл ей глаза, умирающей. Но я забыл одно из первых ее несчастий: семейство, озлобленное тем, что она несколько не скрывала своих отношений к Гарделю, преследовало ее. Всеми законными и незаконными средствами родные добивались того, чтобы посадить ее в смиренный дом, как развратницу, — со всем скандалом. Они гонялись за нею из квартала в квартал, так что несколько лет она должна была жить под чужим именем, прячась от них. Целый день, целый день она работала для Гарделя. Поздно вечером приходили мы, я и Гардель; при виде его вся ее печаль, все тревоги улетали. И, несмотря на все, она была счастлива, пока Гардель не стал неблагодарным.

— Но невозможно стать неблагодарным к той, которая была такая редкая женщина, была так нежна, принесла столько жертв.

— Ошибаетесь: можно. Пришел день, и m-elle де ла Шо увидела себя одинокою в мире с своим позором во мнении общества, без куска хлеба, без поддержки; — нет, не без поддержки: я остался поддержкой ей, — вначале; доктор Камюс — навсегда.

— О, люди, люди!

— О ком вы говорите?

— О Гарделе.

— Дурного человека вы видите; а разве не видите, что подле него и хороший? — В этот день скорби и отчаяния она прибежала ко мне. Это было поутру. Она была бледна, как смерть. Она узнала свою судьбу только накануне, и взглянув на нее, подумали бы, что она страдает давно, очень давно. Она уж не плакала, но видно было, что много плакала. Она бросилась в кресло; не говорила, не могла говорить, только протягивала руки ко мне и стонала. — «Что такое случилось? Он умер?» — «Он не любит меня, бросил меня».

— Ну, что это вы!

— Не могу: она у меня перед глазами: вижу ее, слышу ее и не могу удержаться от слез.

— «Он не любит вас?! Бросил вас?» — «Да, после всего, что я сделала!.. Дидро, голова моя расстроена; сжальтесь надо мною, не оставляйте меня одну, — пожалуйста, не оставляйте меня одну!» — Она схватила мою руку, крепко стиснула ее, будто и эта рука будет вырвана у нее. — «Не бойтесь». — «Ах, я боюсь только самой себя!» — «Что я должен сделать для вас?» — «Спасите меня от самой меня! Он не любит меня! Я наскучила ему!

Я надоела ему! Он ненавидит меня! Бросил меня! Бросил, бросил!»—Несколько раз повторила она «бросил, бросил!» и замолчала. Это молчание было страшнее всяких криков и стонов. Потом она плакала, у ней со стоном вырывались невнятные слова, губы ее дрожали; надобно было не мешать этому пароксизму, и я не мешал ему. Когда она успокоилась, выбившись из сил, я стал говорить с нею: — «Он вас ненавидит, бросил вас, — почему вы так уверены в этом?» — «Он сам сказал». — «Но зачем же совершенно отчаиваться? Он не может быть таким злодеем». — «Вы не знаете его; вы увидите, да, он злодей, каких нет и не бывало». — «Нет, я не верю». — «Увидите». — «Он влюбился в другую?» — «Нет». — «Не подали ль вы ему повода к подозрению или к неудовольствию?» — «Никакого, никакого». — «Что ж это такое?» — «Ему нет выгоды любить меня. У меня ничего не осталось, и я не нужна ему. Он честолюбив, я связываю его. Я потеряла здоровье, подурнела от работы; о, я столько работала! — я перестала нравиться ему». — «Можно перестать быть влюбленным, нельзя перестать быть другом». — «Я стала существом несносным для него, ему тяжело видеть меня, неприятно, возмутительно видеть меня. Если б вы знали, Дидро, что он мне сказал! Да, он сказал мне, что если бы его приговорили просидеть одни сутки вместе со мною, он бросился бы в окно». — «Но такое отвращение не могло явиться вдруг». — «Почему ж я знаю? Он от природы так холоден, так груб! — так трудно читать в душе у человека! И так не хочется читать свой смертный приговор! Он произнес его мне, и с какою жестокостью!» — «Нет, я не понимаю этого». — «Прошу вас, пожалуйста, — я за тем и пришла, чтобы просить вас об этом, — вы сделаете, что я попрошу?» — «Приказывайте, все». — «Послушайте, — он уважает вас; вы знаете, как многим он обязан мне. Может быть, он постыдится показаться перед вами таким, как передо мною, — да, постыдится. Я женщина, — вы мужчина, ваше мнение дороже для него. Он знает, что у вас доброе сердце, он постыдится вас. Дайте мне руку и, пожалуйста, идите со мною к нему. Я хочу говорить с ним при вас. Может быть, при вас мое огорчение разжалобит его. Вы пойдете со мною?» — «Пойду». — «Идем же». — Я послал за портшезом, она была слишком слаба, чтобы итти.

— Вот и дом, в котором живет Гардель. Носильщики оставались, отворили портшез. Я жду. Она не выходит. Я подхожу ближе к портшезу и вижу, что она дрожит всем телом, как в лихорадке. Колена ее бились одно о другое. — «Минуту, Дидро, одну минуту, — я не могу. Что пользы? Я напрасно оторвала вас от дела, простите меня». — Я протягивал ей руку; она взяла ее, усиливалась подняться и не могла. — «Еще одну минуту, Дидро: не поскучайте; вы видите, какая я жалкая!» Наконец, она несколько оправилась; вышла из портшеза, прошеп-



гала: «да, надобно видеть его. Может быть, и умру». Мы подошли к его двери, — вот, мы и в его комнате. Он сидел в шлафроке за письменным столом, сделал мне рукою знак, что просит садиться, и продолжал писать. Через несколько времени встал, подошел ко мне и сказал: «Согласитесь, что с женщинами много хлопот. Тысячи раз прошу у вас извинения за хлопоты, в которые ввела вас мадмуазель де ла Шо». — Обратился к ней, — она была почти в обмороке от слабости: «Чего еще хотите вы от меня? Кажется, я объяснился с вами понятно и полно, и после этого нам не о чем говорить с вами. Я сказал вам, что уже не люблю вас, сказал вам это наедине; вам, кажется, угодно, чтоб я повторил это при г. Дидро, — извольте: мадмуазель, я не люблю вас. Во мне угасла любовь к вам, — и если вас может утешить, то прибавлю: и ко всякой женщине». — «Но почему ж ты разлюбил меня?» — «Не знаю. Знаю только то, что как полюбил вас, сам не знаю почему, так и разлюбил, сам не знаю почему, и что чувствую невозможность нового пробуждения любви. Это болезнь, от которой я излечился, и очень рад тому». — «Чем я виновата перед тобою?» — «Ничем». — «Быть может, ты только не хочешь сказать, у тебя есть какой-нибудь упрек против меня?» — «Ни малейшего. Вы вернейшая, благороднейшая, нежнейшая женщина в целом мире». — «Может быть, я не делала для тебя чего-нибудь, возможного мне?» — «Вы сделали все». — «Я пожертвовала тебе всем, и ты ненавидишь меня». — «Это выражение, которое неприятно употреблять; но если оно употреблено, я должен сказать, что оно верно». — «Он ненавидит меня! Боже мой!» — Смертельная бледность разлилась по ее лицу, губы ее побелели, холодный пот выступил на лице ее и катился по ее щекам, мешаясь со слезами. Голова ее упала на спинку кресла; зубы ее сжались судорогою, по всему телу пробегала дрожь, — и прекратилась, — видя ее неподвижною, я подумал: «умирает, как надеялась, входя сюда». — Но это была не агония, а только обморок. Я, испуганный, снял с нее плащ, распустил шнуровку ее платья, брызгал водою в лицо ей. Ее глаза наполовину раскрылись, в горле ее послышался глухой шум, — она хотела произнести «он ненавидит меня», только последние слоги... «дит меня» можно было разобрать, — и за ними пронзительный вопль, и ресницы опять смыкались, она опять была без чувств. Гардель холодно сидел, опершись локтем на стол, положив щеку на руку, равнодушно смотрел, как я ухаживаю за нею. Я твердил ему: Но, милостивый государь, она умирает... надобно медика». Он с улыбкою пожал плечами и отвечал: «Женщина живучая тварь, не так скоро умирает; это ничего, обойдется. Вы не знаете их: они выделяют из себя, что хотят». — «Умирает, говорю вам». — И, точно, она похолодела, и тело ее падало без силы, как мертвое, — она валилась с кресла. Я держал ее. Гардель с досадою встал, пошел по ком-

нате и грубым нетерпеливым голосом заговорил: «Я не был бы в претензии, если б и не угостили меня этою сценою; но надеюсь, что она будет последняя. Чего хочет от меня эта госпожа? Я любил ее; но хоть биться головою мне о косяк, не пробудишь чувства, которого уж нет. Я сказал ей; надобно же понять, когда сказал, что не люблю, — ну, и конец делу». — «Нет, милостивый государь, не так: по вашему мнению, обобрав у женщины все деньги, остается только бросить ее». — «Что же я могу? Я такой же нищий, как и она». — «Что вы можете! — вы должны делиться с нею последним вашим куском хлеба. Обобрали ее и бросаете!» — «Делиться с нею? Как мило вы рассуждаете! Ее я не накормлю этим, а сам буду голоден». — «Так-то вы поступаете с другом, который пожертвовал для вас всем!» — «Друг, друг! — я не слишком-то верю в друзей, а этот опыт научил меня не верить и в прочность страсти. Очень жалею, что не понимал этого прежде». — «И она должна быть жертвою!» — «А кто вам сказал, что через месяц, через два не поступила бы она со мною точно так же?» — «Кто мне сказал! Мне сказано это тем, что она сделала для вас, и тем, что теперь я вижу». — «Что она сделала для меня!.. Важность! А я тратил на нее свое время, мы и квиты». — «Тратили ваше время! Его потеря равноценна всему, что вы отняли у нее!» — «У меня бесполезно пропадало время: мне уж тридцать лет, и я еще — ничто; пора подумать о своей карьере и бросить эти глупости». — Между тем бедная девушка пришла в чувство; она слышала последние слова: — «Он говорит, что я отнимала у него время! Я выучилась четырем языкам, чтобы облегчать его работу; прочла сотни томов, писала, переводила день и ночь; расстроила свое здоровье, испортила себе глаза, — от изнурения у меня развилась болезнь, — вот причина того, что он разлюбил меня, — мне стыдно было сказать, но смотрите»... Она сорвала пелеринку, сорвала платье с одного плеча; плечо было желто от изнуренного здоровья: — «Вот отчего он разлюбил! вот, вот, — говорила она, указывая рукой пожелтевшие пятна на плече: — Это от бессонных ночей, я все работала для него — он приходил поутру с кипию старых актов из архивов и говорил: «Надобно бы поскорее сделать выборку из них; хорошо бы к завтра» — и к утру завтра работа была готова...» В эту минуту слышались шаги: кто-то шел к двери — слуга, он вошел и сказал, что к крыльцу подъехал экипаж д'Эрувилля. Гардель побледнел. Я стал говорить ей: «Оправьте платье и уйдем». — «Нет, нет, я останусь, я скажу д'Эрувиллю, какой это человек». — «К чему же? Что пользы?» — «Правда; бесполезно». — «Вы сама завтра были бы недовольны собою. Оставьте его торжествовать: это будет мщение, достойное вас». — «Идем же отсюда, идем скорее, я, быть может, не удержалась бы...» Она быстро надвинула платье на плечо и, как стрела, бросилась в пе-

реднюю на лестницу. Я проводил ее на ее квартиру. Там ждал нас доктор Камюс. Он почти так же любил ее, как она Гарделя. Я рассказал ему, — и сквозь печаль, негодование пробивалась на его лице радость.

Она занемогла и долго была очень тяжело больна. Он ухаживал за нею с заботливостью, какую не имел бы к самой королеве. Он бывал у нее по три, по четыре раза в день. Пока была опасность, он ночевал у нее, на голом полу. Когда она стала оправляться, мы начали советовать, как ей жить; нашли работу ей. У ней было столько знаний, что у редкого из академиков найдете вы столько. Она так привыкла с нами к ученым разговорам, что самые отвлеченные науки стали хорошо знакомы ей. Первым литературным трудом ее был перевод «Трактата о мыслительной способности». Я перечитывал его; поправлять было почти нечего. Он был напечатан в Голландии, публика нашла его очень хорошим.

Около этого времени вышло и мое «Письмо о Глухих и Немых». Очень умные замечания, которые она сделала мне, заставили меня написать «Дополнение», которое посвятил я ей\*. Это «Прибавление» одна из хороших моих вещей.

Постепенно к ней возвратилась часть ее прежней веселости. Доктор иногда приглашал нас обедать к нему; эти обеды не были мрачны. Когда Гардель бросил *m-elle де ла Шо*, страсть доктора к ней развилась. Однажды мы обедали втроем; за десертом он стал говорить ей, что любит ее, это объяснение имело всю наивность детства, всю деликатность слов человека, опытного в жизни. Она с прямотою, которое понравилось мне и, быть может, не понравится другим, отвечала ему: «Доктор, я уважаю вас, как никого. Я получила от вас бесконечно много услуг, и была бы таким же чудовищем неблагодарности, как Гардель, если бы не чувствовала к вам живейшей дружбы. И ваш характер чрезвычайно нравится мне. Вы говорите о вашей страсти с такою деликатностью, так приятно, что мне кажется, я огорчилась бы, если бы теперь вы замолкли о ней навсегда. От одной мысли перестать видаться с вами, быть дружной с вами, я стала бы несчастна. Вы благородный, благородный человек. Характер ваш добр и кроток безусловно. Невозможно найти человека, который больше вас заслуживал бы любви. Давно, день и ночь я

---

\* «Письмо о Глухих и Немых, на пользу слышащим и говорящим» — одно из знаменитых философских сочинений Дидро; оно вышло в начале 1751. «Дополнение» к нему, посвященное *m-elle де ла Шо*, явилось через несколько месяцев. Читатель знает, что все порядочные французские книги печатались тогда в Голландии; но голландские книгопродавцы не имели средств платить много, часто не платили ничего французским авторам. Порядочному писателю-французу было очень трудно жить литературою. Сам Дидро тогда и долго после имел очень мало денег. *Примечание Н. Г. Чернышевского.*

говорю моему сердцу: полюби его. Оно не покоряется. Но вы страдаете, и это больно мне. Я не знаю человека, который больше вас достоин был бы быть счастливым, и нет никакой границы моей готовности делать все, что нужно для вашего счастья: все, что зависит от воли, все без исключения. Над моим сердцем я не властна. Но тело мое я могу отдать вам. Если это надобно, я буду жить с вами. Но вам надобно не тело мое, а любовь, — она не зависит от моей воли». Доктор взял ее руку, поцеловал — слезы лились у него на эту руку. Я не знал, смеяться мне или плакать. Она знала его. На другой день я сказал ей: «А если бы он попросил вас исполнить ваше слово?» — «Я сдержала бы слово. Но этого не могло быть. То, что одно предлагала я, одно не будет взято человеком таким, как он». — «А почему ж нет? На месте доктора я сказал бы: возьмем, и любовь придет после». — «Вы на его месте приняли бы; но я не сделала бы предложения, если бы на его месте были вы».

Через несколько времени она переселилась на другой конец города, и я потерял ее из виду. Знаю только, что родные беспощадно преследовали ее и мучили этим до конца жизни, и что доктор до конца остался верным другом ей. Она скоро умерла.

— А Гардель?

— Гардель — он тоже медик — поселился в Монпелье или в Тулузе, имеет отличную практику, большие деньги, репутацию хорошего медика — заслуженную, — и благородного человека — не слишком-то заслуженную.

— Так, это в порядке вещей.

## 15

### НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА СВИРСКАЯ

— Достаточно для вас этого?

— Да.

— Так слушайте и записывайте.

Он стал рассказывать.

Иван Андреич Свирский был из помещиков самой средней руки. Имел своих душ 50 да за женою взял душ 30, служил заседателем от дворянства в гражданской палате. Уж года четыре он был женат и жил с женою так себе, ни дурно, ни хорошо, — больше хорошо, чем нехорошо.

Его мать, женщина еще не старая, довольно светская, неглупая по общему мнению, никогда не была большою охотницею до его жены: Наталья Петровна не была покорною дочерью Прасковье Ивановне. Это не редкость в нынешнем свете. Но вот уже с полгода Прасковья Ивановна присматривала за невесткою особенно зорко и, наконец, приступила к решительному объяснению с сыном.



— Иван, что нашептывает тебе жена? Она напевает тебе что-то недоброе.

Иван Андреич и в этот раз долго отнекивался, он уже отбил много таких приступов: «нет, матушка, она не говорила мне ничего особенного». — Но теперь у Прасковьи Ивановны были уже довольно определенные подозрения, и сын принужден был сказать:

— Она жалуется на здешний климат; средства наши не позволяют нам думать ни о загранице, ни о каких водах; она и не требует этого, маменька; она просит только, чтобы я не препятствовал ей уехать пожить в нашу деревню.

Прасковья Ивановна не предполагала такой умеренности; она думала, что невестка хочет пофрантить зиму в Москве или в Петербурге, или что-нибудь такое; ответ сына озадачил ее. Молодая женщина хочет забиться в деревню, где нет порядочного соседства, ни балов, ни вечеров, ни танцев верст на сто кругом.

— Это странно, Ваня; какая ж причина? Здоровье только пустой предлог. Она здоровая женщина, — смотри, румянец какой! А грудь какая белая да полная, а руки какие!

Иван Андреевич не нашел ничего отвечать. Он конфузился. Он очень знал, какая причина; но как сказать? — Да и сам не знал, верить ли этой причине.

— Она ссылается на здоровье. А впрочем, судите, маменька, как хотите.

— Иван, надобно поговорить с нею хорошенько.

Сыну не хотелось. — Еще раза два подобные разговоры кончались так; Прасковья Ивановна сердилась и бранилась, — и однажды молодая женщина потеряла терпение:

— Матушка, мы никогда не были с вами дружны; но все-таки не каждый день была у нас размолвка. Во всем я не могу угождать вам. У меня свой характер. Но вы привыкали было к этому, — а теперь стали придирааться ко всякой мелочи, как еще никогда. Скажите прямо, чем вы недовольны? Если можно, то я уступаю, вы знаете.

— Я недовольна тем, Наташа, что ты не имеешь доверия ко мне, не хочешь иметь мать своего мужа твоею матерью; мать должна быть первым другом и советницей дочери.

— Маменька, почему ж вы так думаете? О нарядах я давно не спрашиваюсь вас; нынче совсем не тот вкус, какой был в ваше время. И вы уж не требовали этого в последнее время. О чем же еще? Какие у меня дела? Хозяйство в ваших руках, я не вступаюсь.

— Об нарядах что говорить, Наташа; ты мужа не разоряешь; одеваешься хорошо, всегда отдам тебе справедливость. Есть дела важнее, Наташа. В них совет старших мог бы быть полезен.

Наталя Петровна долго и пристально смотрела на свекровь:

догадывается она или нет? — Смотрела и на мужа: рассказал он или нет? — Но Иван Андреич, недурной собою, вялый блондин, имел не такое выразительное лицо, чтобы можно было разобрать, что написано на нем: «рассказал и раскаиваюсь» или «хотелось бы устранить этот разговор, да как его устранишь?» — А в глазах Прасковьи Ивановны можно было читать: «знаю, не проведешь». — И в карих глазах Натальи Петровны блеснуло: «Если уже знаешь, то давай говорить».

— Матушка, вы заметили, что у меня идут какие-то объяснения с мужем? Вспомните свою жизнь: мало ли может быть между мужем и женою таких разговоров, о которых никому другому не следует знать? Я гордая, вы знаете. Мне тяжело и с мужем говорить.

— В моей жизни с покойным Андреем Ивановичем, Наташа, не было ничего такого, что я должна была бы скрывать от глаза его матери, которую уважала и любила, как родную мать.

— Мне нечего скрывать, вы это сама знаете; но я вам сказала, есть вещи, о которых тяжело говорить. Ты молчишь, Иван Андреич? Ты хочешь, чтоб я говорила с матушкой?

— Мы уже говорили с ним; остается нам переговорить с тобою, — сказала Прасковья Ивановна.

— Вы говорили с ним? О, как я рада! Зачем же вы, матушка, начали так сурово? Разве вы сомневаетесь в том, что я готова на все? Не я сама упрашивала его: «решай, как хочешь, выбирай, какое хочешь место, для меня все равно, только спаси меня и себя».

— Что, что ты говоришь, Наташа? — с удивлением произнесла Прасковья Ивановна.

— Как, вы не понимаете? Вы не знаете? Он не говорил вам?

— Он говорил, что ты требуешь, чтоб он согласился отпустить тебя в деревню, и это показалось мне странно: что делать молодой женщине одной, в деревне? Одна там умрешь со скуки.

— Только? Он вам не говорил больше? Он не сказал ничего. Спасите вы меня, матушка. Я прощу вам все. Вы мать, спасите честь вашего сына. Вы сама женщина, пожалейте женщину!

Наташа Петровна бросилась к свекрови, схватила и целовала ее руку.

По лицу Прасковьи Ивановны пробежало опять изумление; потом несколько раз менялось его суровое выражение: сожаление, участие, уважение, любовь, — подозрение, холодность, вражда боролись в ней, и она не знала, чему верить, на чем остановиться: обманывает ее Наташа Петровна или нет? Дорожит ли она честью ее сына или ловко хитрит, чтобы тем свободнее изменять мужу? — Нет, нет, она не хитрит, — участие и уважение все сильнее и постоянное брали верх в уме Прасковьи Ивановны; она поцеловала молодую женщину, встала с дивана, обнимая ее талью: «Наташа, вижу, что ты хорошая жена и дочь, — тебе легче будет

говорить со мною одной — пойдем ко мне», — она повела ее в свою комнату.

Она подозревала, — была почти уверена, что невестка влюблена, — предполагала уже и интригу, может быть связь; — но она думала, что невестка хочет удалиться от глаз мужа и ее, чтобы скрыть связь, — полагала, что, может быть, она уж и условилась с любовником, что он поедет вслед за нею; что, может быть, поездка в деревню даже только начало путешествия вместе с ним куда-нибудь подальше, что она уж условилась бежать с ним. И — невозможно сомневаться, невестка хочет совершенно не того: правда, она влюбилась; но она сама говорит мужу: «спаси меня от этой страсти, позволь мне удалиться, чтобы не видеть человека, который опасен для твоей и моей чести». Как хотите, это очень хорошо.

— Наташа, ты влюблена, мой друг.

— Нет, матушка. Но то же самое, такая же надобность уехать отсюда. Посмотрите, что бывает на всех балах, — вы не замечали, но я теперь говорю вам, — припомните же и вы поймете.

Лицо Прасковьи Ивановны опять приняло недовольный, сердитый вид.

— Наташа, о чем ты говоришь?

— Как о чем, разве вы и теперь не понимаете, от кого я должна уехать?

— Нет, Наташа, я не понимаю, что ты говоришь.

— Как не понимать? Но если вы принуждаете, я скажу прямо: для кого был дан бал с иллюминацией, о которой писали во всех газетах? Для кого было устроено это гулянье на двух пароходах в Нееловку? Для кого теперь устраивается благородный спектакль, в котором я буду играть главную роль? Вы не замечаете этого? И не понимаете, к чему это?

— Владимир Борисович действительно оказывает тебе внимание, Наташа; но кто ж может видеть в этом что-нибудь, кроме благородного, кроме такого, что делает честь тебе?

— Честь! А я вам говорю, что из этого выйдет мой позор, бесчестие мужу.

— Полно, полно, Наташа! Что это ты? С чего ты взяла это?

Если бы это было дело не прошлое, надобно было бы оставить в неопределенности звание Владимира Борисовича и другие частные черты обстоятельств. Но, давно ли, не давно ли было это, действующие лица не будут претендовать, — (может быть, и потому, что они вымышлены). Стало быть, можно сказать прямо, что Владимир Борисович был губернатор, еще «молодой человек» по своему месту, — лет 35 или 36, из очень хорошей, даже аристократической фамилии, с огромными связями и не бедный по петербургской довольно высокой марке, а по-провинциальному чрезвычайно богатый: тогда считали еще на души, и он имел

больше 4 000 душ. Он был не очень хорош собою, но далеко не урод; человек холостой и богатый, ловкий, — даже довольно блестящий, он имел много побед в своей губернской столице, а еще больше тайных и явных искательниц быть побежденными. Но в молодости он привык быть разборчив; был честолюбив и считал опасным подавать предлоги для скандальной молвы. Поэтому держал себя очень скромно в случаях побед, и в три года губернаторства имел еще только одну формальную фаворитку из благородных, и разошелся с нею уже больше года перед тем временем, как происходил этот разговор.

Он не был красавец в молодости; ему было теперь 35 лет, но при всем том какое ж было сравнение между ним, недурным собою человеком, с отлично светскою выдержкою, и мужем Натальи Петровны, понюхивавшим табак, — и не с безукоризненною опрятностью, порядочно игравшим в вист, недурно говорившим в канцелярском вкусе, потиравшим руки перед тем, как взять рюмку, приступая к закуске? Если б губернатор был гадкий старик, молодые лета Ивана Андреевича значили бы что-нибудь. Но он, со своею чиновничьею наружностью, несколько помятою в прежних кутежах, казался годами двумя, тремя старше губернатора, всегда прекрасно причесанного и легкого, грациозного. Иван Андреевич был даже полнее его, хоть и не дошел еще до 30 лет.

Или если бы Наталья Петровна любила мужа, хоть и не за что было особенно любить его, — но ведь бывают же и такие случаи, что привязываются люди ни с того, ни с сего, даже и жены к мужьям, не лучше Ивана Андреевича, — или если б она была женщина идеально строгих понятий, — или если б она имела любовника, — тогда не было бы ничего удивительного в ее желании удалиться от двора Владимира Борисовича. Но любовника у ней не было ни тогда, ни прежде. Было ли тогда сердце ее совершенно невинно, этого я не знаю, — или, если уж хотите полную правду, она была из тех людей, которые едва ли могут оставаться совершенно чисты сердцем среди гадкого общества: в ней не было ни детской наивности, которую сохраняют очень многие из нас навсегда, ни нежной деликатной кротости, которая также не допустит дурных чувств в сердце, хотя бы бойкий ум и понимал зло; в ней не было сурового стоицизма, который также не редкость в женщинах. Вижу, что я говорю о ней нехорошо. Она извинит это, потому что знала всегда, что не принадлежит ни одному из тех очень различных разрядов людей, которых я люблю. Она и не ждет от меня лестных для нее отзывов. Но я должен сказать, что она держала себя безукоризненно. Не только иметь любовника, — она даже не кокетничала. Это потому, что она была, — и осталась, — очень горда; и тогда она уважала себя; уважает и теперь, но не в том духе.

Или, если бы она хоть уважала мужа, — но за что ж бы стала



уважать его женщина очень неглупая, более образованная, чем он, и несравненно более честная? — Честною женщиною я должен назвать ее.

Не любила, не уважала мужа, — губернатор был гораздо лучше его, и кроме того, губернатор, а не заседатель, как же она хотела уехать в деревню?

Что сказать об этом? — Вы увидите, как она сама думала об этом.

Думала, — но про себя; не с мужем же было говорить такие вещи, — и не с его матерью. Поэтому разговор с матерью любопытен разве с той стороны, как они обе не сказали друг другу ничего лишнего, хоть договорились до ссоры.

Нечего рассказывать, чего не могли они высказать друг другу: тайна Прасковьи Ивановны и ее сына была тогда же видна всему городу. Расчет был очень обыкновенный: пусть губернатор волочитя за Натальею Петровною; это очень хорошо для службы Ивану Андреевичу. Через год будут выборы. Дворяне жили очень хорошо с губернатором. Все тузы, располагавшие голосами, видели в нем своего брата, богатого помещика, и были очень дружны. Он для них делал все; они не могли обидеться его просьбою за Ивана Андреевича; а просьба будет: «господа, выберите его в председатели гражданской палаты».

Это все так. Но вот что трудно понять: как же он и его мать полагали вести это дело? Смешно думать, но нельзя не думать, что они полагали вести дело на поцелуях ручки. Они рассчитывали на гордую твердость молодой женщины: «она не захочет забегать к нему потихоньку (будто бы) от мужа, вечер с ним, а после вечера опять к мужу, как делала землемерша». В этом они не ошибались. Но как же они воображали выехать на поцелуях ручки в председатели? Что за невинность такая был Владимир Борисович? Дураком ли они его считали? 15-летним ли мальчишкою считали? — Он был несколько не похож на такого молодого и глупого теленка.

Этот расчет на силу благовоспитанного кокетничанья нелеп до того, что почти невозможно верить ему. Но вы увидите, что муж и свекровь рассчитывали именно так. Одни слова их ничего не значили бы; но они доказали свою невинность поступками.

— Ты много забираешь себе в голову, Наташа. Владимир Борисович учтивый кавалер; обращает внимание на тебя, как на молодую приятную даму, и больше ничего. Я не отнимаю у тебя ни ума, ни светской приятности, какому же образованному мужчине не бывает приятности в обществе молодых дам? Они должны держать себя, как требует польза мужа. Если бы ты, Наташа, когда-нибудь подавала предлог сомневаться в строгости твоих правил, мать мужа твоего не стала бы говорить с тобою такими словами. Но ты не из числа легкомысленных молодых женщин, Наташа; потому я и рассуждаю с тобою по моей житейской

опытности, будучи уверена, что из этого не может выйти ничего, кроме хорошего для всех нас.

Они долго спорили: «Я не хочу, чтобы в свете стали называть меня любовницей губернатора», говорила Наталья Петровна. Прасковья Ивановна возражала, что этого никогда не будет, что она, ее милая дочь, при своем уме и характере сумеет держать себя ласково с губернатором и, однакож, не возбудить злословия.

Злословие! — Наталья Петровна боялась не злословия друзей, она боялась самой себя. Это самая любопытная черта дела. Если написать из этой истории роман, то нетрудно изобразить постепенное развитие чувства, возбуждавшего в ней опасение, очень подробно рассказать ее борьбу с самою собою; и при некотором знании человеческого сердца, рассказ был бы, вероятно, довольно близок к действительной истории чувств и мыслей Натальи Петровны. Но это не роман.

— По чему ж это знать?

— Да, между прочим, можно видеть и по объему: не сотни страниц, — не роман, и даже не сотни, не полсотни, значит, и не повесть.

— Что ж это такое?

— Что бы то ни было, но вы должны полагать, что выдуманный анекдот, которому придается вид действительного случая, для вашего развлечения. Поэтому не буду вдаваться в подробности, о которых не мог бы дать вам отчета, — я должен не прибавлять ничего к письму, которое показал вам.

— Оно важно. Его надобно поместить.

— Поместите. Можете даже сказать и то, что это письмо писано Натальею Петровною к одной из прежних подруг, родственник которой отдал вам его с ее согласия.

#### ПИСЬМО

«Ты осуждаешь меня\*\*\*, и не можешь понять того, что я стану говорить тебе. В тебе нет властолюбия. Ты не можешь извинить меня. Как ты представишь себе привлекательность господства, если оно не привлекает тебя?

Впрочем, это было не одно. Они с каждым днем становились мне более гадки. Ежеминутные попреки и прямо, и намеками. Рассуждение о том, что мы небогатые люди. Каждое слово направлено все к этому.

Потом, они даже стали теснить меня. Ты не поверишь, прислуге было показано, что она угодит им, делая мне неприятности. Если я возвращалась домой, когда они уже пообедали, — я убеждена, что часто они нарочно торопились обедом, — я два часа не могла дожидаться, чтобы подали мне. И потом, что подавали мне! Кучер, лакей стали со мною грубы до несносности. Управляющий

именем перестал высылать мне деньги. Буквально говорю тебе, я испытала нужду. Я иногда была голодна. У меня не было денег на перчатки.

Ты осудишь меня, несмотря на это. Но характер мой не я дала себе. Ты перенесла бы. Я не могу.

Могла ли бы ты не презирать их? Могла ли бы ты не возненавидеть их? Я хотела мстить. — «Это дурно». — Брось свою мораль. Мало ли что дурно, но когда человек не может подавить в себе желание мстить? Не всем быть овечками, как ты. Если бы мы жили в Италии, в старину, я наняла бы бандита; но у нас умеют только воровать. Как я могла отомстить им? — И вот, я взяла власть.

Цалую тебя, моя овечка».

Да, через несколько месяцев, когда губернатор уж терял надежду, Надежда Петровна вдруг отвечала на его нежные речи: — «Чего вы добиваетесь от меня? Чтоб я была вашею любовницею? — Нет. Если б я была девушка или вдова, женились бы вы на мне?»

Он стал уверять.

— Лжете. Или — можете доказать противное.

— Чем?

— Вы должны отделать для меня половину в вашей квартире. Я не могу носить вашу фамилию, — но я хочу быть губернаторшею. Если вы согласны на это, — я очень рада.

Город удивлялся, для кого губернатор стал отделять будуар и другие такие комнаты, будто собирается жениться. На ком же? Не на ком. А между тем, ехали из Петербурга мебель, обои, — явились, наконец, три горничные, — обратились к ним: «Кому служить вы наняты?» — «Ничего нам не сказано». — Тогда догадались, что губернатор, ездив за полгода перед тем в Петербург, сошелся там с одною француженкою, — сообразили и имя француженки; очень скандализировались этим, целую неделю, — а через неделю ахнули: губернатор пригласил к себе обедать человек тридцать гостей; гости собрались; сидели, говорили. Пробыло 4 часа. Подъехала карета; растворились двери, в зал вошла Наталья Петровна, сняла перчатки, положила веер и шляпу на маленький стол у зеркала, — обернулась к прислуге и сказала: «подавайте кушать», — потом к гостям: «милости прошу, господа», — подала руку ближайшему из почетнейших гостей, — все пошли за ними в столовую, не веря своим глазам и ушам.

Через месяц председатель гражданской палаты объявил Ивану Андреевичу, что просит его подать в отставку, потому что иначе губернатор даст предложение о предании его суду за взятки.

Через неделю он и его мать удалились в деревню, в которую не хотели отпустить Наталью Петровну.

— Это напоминает историю г-жи Монтеспан.

— Напоминает.

— Это переделка ее?

— Есть важная разница: г-жа Монтеспан не мстила мужу.

И я не помню что-то, была у нее свекровь и участвовала ли в мерзком отказе мужа.

— И я не помню, была ли свекровь. Но остальное — все так.

И ее характер, — то есть Натальи Петровны, — тот самый.

— Да.

— Сознаться же: это переделка — истории г-жи Монтеспан.

— Нет.

— Это выдумка?

— Нет.

— Это скандал, если так?

— Нет.

— Что ж это такое?

— А зачем вам знать?

## СЦЕНА

Разговаривающие — те же, как в прежних трех сценах.

Господин X. Но, милостивый государь, это не в наших нравах.

Господин N. Очень рад.

Господин X. Но поэтому, милостивый государь, это противохудожественно.

Господин N. Позвольте мне выразить один вопрос: не лучше ли было бы сказать: «антихудожественно» или «антиэстетично»?

Господин X. Милостивый государь, вы наглец.

Госпожа X. Не слушайте его, мн N. Зачем ты читаешь? Это вздор, это пустяки, это для меня, а вовсе не для тебя. Ты читай свои умные книги. — Но послушайте, мн N, да этот Дидро был добряк?

Господин N. Был добряк.

Госпожа X. Как это странно! — Послушайте, что вы серьезно скажете о г-же Монтеспан?

Господин N. Я ненавижу ее, потому не хочу судить.

Госпожа X. Как ненавидите? Когда прошло полтора столетия?

Господин N. Почти двести.



Г о с п о ж а Х. Однакож я не знала, что она была такая благородная женщина! Как это жаль! Как это жаль! Бедная, бедная! Я прочту о ней.

Г о с п о д и н N. Не читайте. Конец ее истории гораздо более грустен. Вообще, вам не годится читать историю; гнусность на гнусности. Да и к чему вам? Держать экзамен? И притом, вы забываете, что вы женщина, следовательно, — простите, но должен сказать прямо: дура.

Г о с п о ж а Х. Ваша правда; а я было забыла.

## 18

- Папаша, моя маменька женщина или мужчина?
- Женщина.
- А твоя?
- Тоже.
- Однако, папаша! Однако!
- Да, братец.

## 19

### У ж а с н о!!!

в начале, с благополучною развязкою,

или

### РАСКАЯНИЕ ГОСПОЖИ ИКС

драма в 4-х действиях.

Действующие лица:

Г о с п о д и н X (Икс) } тех лет, какие имеют.  
Г-жа X, его супруга }

Г о с п о д и н N, в начале человек неблагонамеренный, 36 лет.

Г о с п о д и н У с а ч о в, 30 лет, друг господина X, человек свирепых нравов.

Ю н о н а, богиня Олимпа, 35 лет. Дезабилье, но скромнее костюма других богинь, как бы в кисейном пеньюаре без белья.

И р и д а, наперсница Юноны, 22 лет. Дезабилье; только через плечо перекинут шарф всех цветов радуги.

\*\*\*, из мелких греческих богов; до надлежащего времени имя его остается тайною, чтобы не нарушило драматического интереса.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Квартира г. и г-жи Икс.

### ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Комната г-жи Икс.

Господин Икс. Я готов, мой друг.

Госпожа Икс. Я не могу ехать с вами. Я женщина, следовательно, я дура. Что за охота вам, чтобы дура компрометировала вас в обществе?

### ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Столовая. За чайным столом.

Господин Х. Скажи, мой друг...

Госпожа Х. Не спрашивайте меня ни о чем. Я женщина, следовательно, я дура. Что могу я отвечать вам? Что за охота вам слышать глупости?

### ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Кабинет г. Икс.

Господин Х (сидит и держит себя обеими руками за волосы). О! (Дергает волоса руками.) О!! (Пять секунд переводит дух. Потом.) О! (Опять дергает волоса руками.) О! (Опять переводит дух.) О! (Опять дергает волоса руками.)

Господин Усачов (входя). Что с тобою, друг мой? На лице твоём страданье, руки твои в волосах твоих.

Господин Х (продолжает, как прежде).

Г-н Усачов. Открой твоё сердце другу. (Силою разводит руки г-на Икс от волос.) Поделись со мной своею скорбью, и она будет легче.

Г. Х. Вот в чём дело. (Рассказывает, как обращается с ним г-жа Х и отчего произошло это.) Я человек, потому предался порыву отчаяния. Но тот, кто довёл меня до этой слабости, дорого поплатится за неё! (Дает инструкцию г-ну Усачову, пишет письмо и отдаёт ему. Содержание будет видно из второго действия.)

Г-н Усачов. Ты заглаживаешь этим свою слабость. Ты достоин называться моим другом.

Г. Х. Спешу!

Господин Усачов. Спешу! (Спешит.)

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Кабинет господина Н.

### ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г. Н (сидит, пишет — несколько строк, потом читает:)

Русская песня.

Не хочу носить кольца,  
Стала вольной птицею;  
Полюбила молодца,  
Назвалась девицею.

Не дурно! Право, не дурно! Буду поэтом, буду. Вот, чего уж никак не ждал от себя. (Пишет и опять читает:)

Эту песню, друг мой милый,  
Ты певала ли когда?  
Ты молчишь? Твой взгляд унылый...

Господин Усачов (входя). Я имею честь говорить с г. Н?

Г. Н. Точно так. Прошу садиться. Что вам угодно?

Г. Усачов. Один из моих друзей, г. Икс, просил меня передать вам эту записку. В ней прочтете и мою фамилию.

Г. Н (читает с удивлением). Вызов на дуэль! За то, что я поссорил его с женою! Это непостижимо. Я никогда не говорил ни одного дурного слова о г. Икс, не только его супруге, но и никому. Я почти незнаком с ним. Что это такое? Объясните, сделайте милость.

Г. Усачов. С удовольствием. (Объясняет.)

Г. Н. (в невольном порыве). Ай да она! молодец! — Ах, боже мой, извините, пожалуйста: я забылся при его друге.

Г. Усачов (свирепо). Извиняю. Но, ваше оружие?

Г. Н. Полноте, что вы? Да это была бы комедия!

Г. Усачов. Комедия или нет, об этом должен судить обиженный, пострадавший, то есть мой несчастный друг. Ваше оружие?

Г. Н. Милостивый государь, я не дерусь. По моим принципам, дуэль — безумие даже и в случаях серьезных столкновений. А это — это бог знает, что такое.

Г. Усачов. Кто отказывается от дуэли, тот уполномочивает на очень неприятное обращение.

Г. Н (бледнея). Неужели этот вызов не шутка?

Г. Усачов (молча, крутит усы).

Г. Н. Милостивый государь, позвольте мне подумать.

Г. У с а ч о в (пожимая плечами). Когда ж вы дадите ответ?

Г. Н. Завтра поутру.

Г. У с а ч о в. Итак, завтра в 10 часов я буду ждать к себе вашего секунданта. Вот мой адрес. (Подает свою карточку.) Этою отсрочкою я превышаю мое полномочие. Но мой принцип: вести эти дела со всевозможною любезностью. До приятного свидания. (Уходит.)

## ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г. Н (оставшись один). Однако это ужасно. Драться я не буду. Это, положим, так. Но этикие сорванцы, головорезы, людоеды, они чорт знает, что могут сделать. Это скверная штука! Гадко, гадко! (Продолжает размышлять в этом духе, или, вернее, замирании духа.)

### Предупреждение.

(Прежде нежели читать далее, молодые люди должны из скромности закрыть глаза.)

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

### ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Вершина горы Олимпа (в Греческом королевстве).

Облака.

Г о л о с Ю н о н ы (из облаков). Закрыли ль глаза молодые люди? Взгляни, Ирида.

И р и д а (высовывает голову из облаков). Закрыли. (Облака рассеиваются.)

Ю н о н а (в своем скромном дезабилье) лежит на древнем греческом нечто в роде канапе. Перед нею, в почтительной позе, стоит Ирида, с своим радужным шарфом через плечо.

Ю н о н а. Однакож это несносно. Во всей России два-три человека имеют понятие о нас, и один из них называет меня Юноною! Я Гера, а вовсе не Юнона. Юнона совершенно другая богиня, никогда не бывавшая и в Греции, не только на Олимпе. Но это между прочим. А вот и другое огорчение, еще более неприятное. И все от того же господина Н. Какой гадкий человек! Из пяти или шести счастливых супружеств на целом земном шаре...

И р и д а. Вы забываете, что нам неизвестно, что земля шар.

Г е р а. В самом деле, обмолвилась. Благодарю, душенька. Но на шаре или на тарелке — все равно. На целой земной тарелке...



И р и д а. Тарелка немецкое слово, а мы не можем употреблять немецких слов.

Г е р а. Ирида, держи язык за зубами. Я хотела сказать, что на земле так мало счастливых супружеств; почти все мужья похожи на моего старого волокиту. А жен, которые были бы похожи на меня, почти нет. Это так убивает меня. Первая богиня, — и ее департамент, супружеская любовь, так беден и мал. Всего только двенадцать человек подданных на целой земле! И из них двое теперь в таких отношениях! Я, ей-богу, не знаю, что и делать. *(Задумывается.)* Ирида, отправься, пожалуйста, опять к Морфею и скажи ему *(дает инструкцию, которая будет понятна из следующего действия)*.

#### ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Долина сна, в глубине долины пещера, жилище Морфея. *(Из Овидия, Metamorphoses.)*

М о р ф е й *(тот бог, имя которого было утаено в списке действующих лиц, спит на постели из маковых листьев и уветов)*.

И р и д а *(входит, будит его)*. Гера приказала тебе *(передает инструкцию)*. А-а-а! *(Зевает.)*

М о р ф е й. Исполню. Приляг, вздремни.

И р и д а. С удовольствием бы, да некогда. Ведь она очень взыскательна. А-а-а! *(Зевает.)*

М о р ф е й. Право, приляг, соснем.

И р и д а. Уж если бы прилечь, так не за тем, чтобы соснуть.

М о р ф е й. И то дело.

*(Занавес падает)*

Теперь молодые люди могут открыть глаза, потому что не увидят уже ничего такого.

#### ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Исполнение инструкции, данной с Олимпа.

#### ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Спальня г-жи Икс.

Г-жа Икс *(почивает)*. Морфей *(пролетает по комнате)*. Сон г-жи Икс.

Г-же Икс снится, что в комнату входит величественная женщина в том самом деэабилье, какое описано выше. Г-жа Икс во сне видит себя говорящею.

Г - ж а И к с. Как странно одета эта женщина! Судя по всему, порядочная, солидная дама, хорошего общества, мать семейства, уже не молодая — и ходить в таком костюме!

Вошедшая дама. Не удивляйся. Я Гера, греческая богиня...

## Интермедия.

Молодые люди. А вот мы и увидели в 4-м действии то, что вы, г. автор, прятали от нас в третьем.

Автор. Нет, господа, извините, вы ошибаетесь. Это сон, и его видит госпожа Икс; потому только она одна и видит Геру, а вы не видите.

Конец интермедии. Продолжение драмы.

Вошедшая дама. Я Гера, греческая богиня, богиня счастливой супружеской жизни. Я очень огорчена твоею размовкою с мужем, и посмотри, до чего ты довела твоего мужа. Проснись. Идем со мною. — *(Берет за руку г-жу Икс, и обе идут в переднюю.)*

Передняя квартиры г-жи Икс. У стены стоит вешалка. На одном из колышков вешалки висит г. Икс.

Г-жа Х. Ах!

Гера. Позднее раскаяние! Убийца мужа!

Г-жа Икс падает в обморок и, падая, задевает локтем за вешалку.

Конец сна.

Г-жа Икс, просыпаясь, в ужасе вскакивает и бежит с лампою в переднюю, — смотрит на вешалку, — на ней висит енотовая шуба господина Х, и больше ничего.

Г-жа Икс. Ах, какая я смешная! Но сон был так жив! И теперь, как бьется сердце! Нет, нет, я была слишком жестока! *(Возвращается в свою комнату медленным шагом, задумавшись; ложится и долго не может заснуть. По временам повторяет: я была слишком жестока!)*

## ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Утро. Кабинет г-на Икс.

Г. Икс *(не спавший всю ночь, осматривает pistols)*. Конечно, он выберет pistols. Давно я не стрелял в цель. Но надеюсь не дать промаха. *(Запирает ящик с pistols, берет бумагу и перечитывает.)* Все в порядке. Ничего не забыл. Она раскается. Но я сам виноват. Эти ослы вечно толкуют о своем уме, и я пристал к ним — умен, тоже. Эх, какая глупость! И из-за нее обижал жену, теперь сам рискую жизнью и рискую стать убийцею! Нет, я сделаю выстрел на воздух.

Г-жа Икс *(входит)*. Друг мой, у тебя желтое лицо, — ты нездоров?

Г. Икс. Прости меня!

Г-жа Икс. Забудем эту ссору. Ты нездоров?

Г. Икс. Нет, но я мало спал.

Г-жа Икс. Ты был так расстроен?

*(Начинается трогательная сцена. — Через полчаса, те же, там же.)*

### ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г. Икс. Я даже сознаюсь тебе, как ни совестно признаваться: я вызвал его на дуэль.

Г - ж а Икс. Неужели? Ха, ха ха!

Г. Икс. И теперь, я думаю, он в лихорадке.

Г - ж а Икс. Будто он такой трус? Так поскорее избавим его от страха. (*Звонит.*) Отправим слугу к нему, пригласим его и помиримся.

### ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Немая, но живая картина.

Гостиная г-жи Икс. Господин Икс и господин N стоят, нежно обнявшись, и по временам целуются. Господин Усачов, оставив свирепость нравов, плачет от умиления.

Г - ж а X (*к зрителям*). Берите пример с них!

З р и т е л и. Берем! (*Обнимаются. Вынимают платки, утирают глаза и сморкаются.*)

## 20

### ЧИНГИЗХАН

(Из воспоминаний Н. Г. Маврикиева)

Я видел этого почтенного старика только однажды. Он рассказывал множество анекдотов и длинейшую историю громадного поместья, одним из опекунов которого был; как и всякая история, история поместья была история не самого поместья, а его обладателей. Перескажу из нее один эпизод.

Господин, владевший поместьем в начале нынешнего века, был создателем громадного богатства своей фамилии, сам вышел из ничего, но под старость уже совершенно забыл, что был когда-то не более, как человеком, а не богом.

Страшные примеры его самовластия не буду рассказывать; в них нет ничего особенного. Но вот выходка, очень оригинальная.

Среди земель этого божества лежало небольшое село, имевшее дворов восемьдесят или девяносто и до трехсот ревизских душ. Прежние помещики и помещица имели только одного сына, отправили его почти ребенком на службу в гвардию и лет через десять — двенадцать умерли. Молодой человек, занятый своею службою, не приехал вступить во владение. Мужики, подумав об этом обстоятельстве, рассудили написать ему такое письмо: видно, что тебе, барин, нет времени отлучаться от службы, и ты не будешь жить в своем поместье. А за глазами хозяина какое хозяйство? Приказчик будет тебя обворовывать. Так не согла-

сишься ли перевести нас на оброк с барщины? Это будет тебе выгоднее, да и нам легче. — Они предлагали хороший оброк. Барин был очень рад, согласился. Они высылали ему оброк исправно, и шел год за год, прошло так лет сорок. Помещик стал чувствовать, что пора старым костям на покой, и вышел в отставку, и поехал в свою деревню.

Барской усадьбы давно уж не было; она много лет разваливалась понемногу, потом мужики написали помещику: развалится она совсем, продай ее нам, куда не вышли из нее одни гнилушки, — он продал, они разобрали лес на поправку своих изб. Таким образом, возвратившийся помещик въехал на двор к старосте. Его приняли с большим почетом, но он устал с дороги и поспешил отпустить подданных, собравшихся на поклон: «благодарю вас, а вы меня извините: дело мое немолодое, надо отдохнуть». — Отпустил и лег отдохнуть. Разбудили его к обеду, — пообедал, — соснул опять, потом пошел по селу, толковал с мужиками; вечером несколько мужиков сидели у него в старостинной избе, тоже толковали.

Проснулся поутру, — староста говорит: давно вас ждем, когда проснетесь. У нас был сход ныне по случаю вашего приезда, и мир желал поговорить с вами. — Хорошо. — Вошли несколько стариков, уполномоченные от мира, и сказали так:

— Не прими, сударь милостивый, за обиду себе того, что мы тебе станем говорить. Ты был нами доволен, и мы тобою очень довольны. Но по твоим вчерашним разговорам, мы увидели, что ты приехал не погостить у нас, а совсем. Теперь рассуди ты вот что: по твоей милости, сколько лет мы жили, не выдавши тебя, не имевши между собою помещика? Мы сделали привычку к этой воле. Просит тебя весь мир: не строй ты себе усадьбу, не переселяйся ты жить к нам, оставь нам нашу волю. Приехал ты теперь — и гости ты у нас хоть неделю, хоть две, а дольше не гости. Ежели опять когда вздумаешь приехать не надолго — милости просим; а жить с нами не живи.

Помещик был изумлен. Сначала подумал, что они подозревают его, что не понравилось им что-нибудь в нем, нет, они сказали, что видят в нем хорошего и простого человека и верят его вчерашним разговорам, что он не хочет возобновить барщины, что и резоны его на это такие, которым нельзя не верить: что ему за охота, да и уменья нет у него, заводить запашку свою, проживши век до старости в Петербурге, и что ему хочется отдохнуть, а не суету принимать. Мы верим, говорили они, что ты хочешь оставить все попрежнему; но только не может остаться попрежнему, если ты будешь жить между нами; потому, не живи.

Помещик спорил; доказывал, что они ошибаются, что он не будет вреден для их порядков, потому что не будет ни во что вмешиваться. «Ты не будешь мешаться в наши дела, так тебя бу-



дут мешать в них. Всякий в своей ссоре пойдет к тебе, чтобы ты разобрал, как ему хотелось. И не хочешь, да будешь мешаться», отвечали мужики.

Помещик не соглашался, что это уж непременно так выйдет: «Кто ж может замешать меня в ваши дела, когда я не хочу? Не дело вы говорите; а видно, что я чем-нибудь не понравился вам».

— Чем же ты нам не угодил? Всем ты угодил нам, и ты нам люб, когда не станешь жить с нами; а хочешь с нами жить, так не люб.

Мужики предлагали помещику увеличить оброк, только уехать от них. Но помещик не поддавался, и ему стало обидно это: «когда не живешь с нами, то люб; а хочешь жить с нами, то не люб ты нам».

Что делать помещику? Думал, думал он: обидно, обидно.

И поехал к Баташову.

Баташов, по обычаю богов, был милостив и обходителен с людьми, приходившими на поклонение.

— Что ты ко мне? И кто такой? — спросил он нового соседа, подходившего к нему. Он сидел на крыльце и грелся на солнышке.

Сосед объяснил, что вот именно он и есть его сосед, служивший в Петербурге, — вышел в отставку и приехал жить в свою деревню, и явился засвидетельствовать свое почтение Баташову и принести ему свою просьбу.

— Милости просим в наши края. Мы рады хорошим людям. А какая твоя просьба?

— Вот такая. Мужики мои обижают меня, не хотят, чтобы я жил в своей деревне у них; говорят, не люб я им.

— Надо наказать их, разбойников. Как помещика не почитать?

— С тем я и приехал к вам. Где мне ладить с ними? Возьмите вы их за себя.

— Правда твоя. Так ты хочешь продать мне свою деревню?

— Точно так. Прошу: купите.

— Коли просишь, то почему ж не исполнить? Покупаю. Сколько у тебя душ? Сколько тебе надо за них?

Помещик сказал, сколько душ. — «А цену не смею назначить вам; сами определите; кроме вас, продать некому; кто может купить мимо вашей воли?»

— Умно рассуждаешь. Обижен не будешь от меня. Даю тебе за них...

Баташов назначил хорошую цену. Сосед поблагодарил.

— Ну, теперь ты молчи об этом деле. И вы молчать! — обратился Баташов к своим опричникам. — А мешкать нечего. Пообедаешь ты у меня, да и ступай в губернию с моим поверенным, совершать крепость. Совершишь, назад приезжай ко мне.

Сосед и поверенный съездили в губернский город, возвратились. Все было в секрете. На другой день, рано поутру, Баташов взял с собою соседа и поехал с своею свитою в купленное село. Там ничего не знали.

Приехали. Собрали сход.

— Знаете, за чем я приехал к вам? — начал Баташов.

— Не знаем, батюшка. Скажи, будем знать.

— Купил я вас. Вы своему прежнему помещику сказали, что он не люб вам, — ну, а мне вы не любы. — Гей!

По этому сигналу, двинулись из-за пригорка в деревню телеги и телеги, сотни телег.

— Клади все на возы! — скомандовал Баташов.

Бесчисленная его свита бросилась по избам, стала выносить все мужицкие пожитки и укладывать на телеги.

Уложили все.

— Все вынесли, уложили?

— Все.

— Становись каждая семья у своих пожитков. — сказал Баташов.

Стали.

— Обкладывай соломой избы.

Опричники в пять минут натаскали горы соломы к избам по концам деревни.

— Зажигай.

Зажгли.

— Вот как я с теми, кто мне не люб, — обратился Баташов к своим новым подданным: — больше не будет вам наказания. Прощаю. Ступай, развози их, как сказано.

Опричники разделились на отряды и поехали с телегами и новыми подданными своего господина на все четыре стороны, развозить их по его чуть не бесчисленным деревням. Каждая семья была отвезена в особую деревню. Там было дано ей новое обзаведение.

Избы, хлеб, скот — все было сожжено в уничтожаемом селе.

Когда пожар стал догорать, Баташов с прежним помещиком поехал в свою резиденцию. Там уже были исправник и чиновники из уездного города по его призыву. Поздравили его с покупкою, прежнего помещика с продажей. Пировали. Баташов велел им остаться ночевать: «завтра допируем».

Поутру поехали на охоту. Когда время стало подходить к обеду, Баташов сказал: «Пообедаем в поле; у меня приготовлено место», — и поехал на то место, где вчера было село.

Все пожарище было уже очищено, сровнено, — никаких признаков вчерашнего, — обращено в гладкое, чистое поле и покрыто дерном. Посредине нового поля была разбита большая палатка, и Баташов с гостями пообедал в ней.

## ИСТОРИЯ ЕЛИЗАРА ФЕДОТЫЧА

(Рассказ Р. А. Т.)

Я с месяц жил в своем родном городе, — иные знакомые и родные постарели, как следует постареть в пятнадцать лет, — другие — ни на волос, какими оставил я их тогда, так и сохранились в тех самых годах.

— Пришла какая-то женщина, говорит, ваша родственница.

Этому не мудрено быть и правдою. Чем другим, а дальнею роднею всякий богат. «Попросите сюда ко мне».

— Здравствуйте, матушка; садитесь, будьте гостьею. Как мы с вами родственники, скажите. А прежде всего, прошу покорно, — я подал ей стакан чаю.

Вошедшая была одета очень бедно, — даже и для бедной мещанки бедно; уже не молода; лицо изнуренное, сообразно костюму; не глупое.

— Благодарю (она назвала меня по имени). Я жена Елизара Федотыча, если помните.

— Как не помнить, помилуйте! Очень рад. Жив ли он и здоров ли? А ваше имя и отчество, позвольте узнать?

— Жив и здоров. А меня зовут Анною Степановною.

— Если жив и здоров он, Анна Степановна, то слава богу. Но что же такое, бедненько одеты вы, — извините, я говорю, как вижу.

— Да житье наше горькое. А это точно, что не следовало бы нам с ним терпеть такую нужду. Он человек умный, и могли бы мы жить не хуже людей; и жили. Да я сама виновата.

Да, она неглупая женщина: поняла, что я не ожидал увидеть жену Елизара Федотыча нищею.

Впрочем, не заключайте из этого, что я в старину знал Елизара Федотыча человеком зажиточного состояния или хоть зарабатывающим себе безбедный кусок хлеба. Нет, он был сирота, почти бесприютный; родные кормили и одевали его, но присмотреть за ним было некому, он был мальчик очень бойкий и замотался, можно сказать, с детства: лет в четырнадцать он уже не новичком в кабаках и сильно плутовал; такое раннее развитие не редкость между мещанами города Симбирска, — да и других городов тоже. Скоро он совершенно отвалился от родных, — маленьких купцов, зажиточных и бедных мещан. Года два не было о нем слуха: знали только, что он пошел в «азы». Азами на мещанском языке назывались тогда отчаяннейшие плуты ябедничества. Елизар Федотыч был мальчишкой определен в писцы в магистрат и лет в пятнадцать уже порядочно знал дела. Но принуждены были выгнать его за пьянство и плутовство. Года через два после того, как его выгнали, родные стали вновь слышать о нем: «азы» составили компанию, существованию и успехам которой не поверят люди, не знающие нашей

жизни. Это общество плутов устроило где-то в Кострыжной или Цыганской улице Казенную Палату, — это было лет за пять до учреждения Палат Государственных имуществ, и казенные крестьяне находились под ведомством Казенных Палат.

— Позвольте, — прервал я рассказчика: — как же я напишу «Симбирск», — в Симбирской губернии удельные крестьяне, а не казенные.

— Именно поэтому я вам говорю: пишите Симбирск.

— Так я напишу: «удельная контора».

— Пишите Казенная Палата, как я сказал. Казенная Палата, а не удельная контора.

— Так не Симбирск.

— А вы слушайте да записывайте, а не спорьте.

— Продолжайте.

— Азы устроили Казенную Палату, Губернское правление, Рекрутское присутствие, — все, до чего есть дела у мужиков. Ходили по постоянным дворам, высматривали мужиков, приезжавших в Симбирск по делам, приводили их в свое логовище, — там был и стол с красным сукном, и на столе зеркало, — и удовлетворяли все желания просителей. Главным источником доходов были рекрутские дела. Азы выдавали свидетельства, что парень не годится в солдаты. Поверите ли, что это продолжалось, быть может, целый год.

— Но ведь освобожденного ими рекрута требовали в настоящее рекрутское присутствие, и плутня обнаруживалась?

— Само собою. Но не могли отыскать, где это азовское присутствие. Азы водили к себе мужиков пьяных, или ночью, или обобранные мужики не могли потом отыскать улицу и дом.

— Не может быть!

— Не может, так не может, и пусть не может. А я вам говорю, что это длилось более полугода. Но как ни укрывали азов их приятели, а все-таки нельзя ж было укрыть их слишком долго. Присутствие было найдено, присутствующие отведены в острог, и в числе их Елизар Федотыч. Когда я уехал в Петербург, дело еще тянулось.

Он был не очень близкий родственник нам и рос не в нашем доме. Он был не ровесник мне, — годами восемью старше. Поэтому я не был хорошо знаком с ним, и когда мои родные отступились от него, и я перестал интересоваться им. Возвратившись, и я не любопытствовал спросить, чем развязалось его дело, где и что он; думал, что он давным давно сослан. А вот он оказывается жив и здоров и женат в Симбирске. Это не диво.

Женат — стало быть, остепенился. А если остепенился, бросил слишком сильное пьянство и слишком отчаянную ябеду, то не должен бы жить в такой нужде: он делец и очень даровитый человек.

— Да, — начала свой ответ мне его жена: — не следовало бы

нам с ним терпеть нужду; да я сама виновата, — и стала рассказывать, как она виновата. Трудно было бы угадать, как.

— Вам известно, что Елизар Федотыч вел в молодости очень нетрезвую жизнь. Год от году хуже да хуже, и унизил себя до того, что стал говорить мне: хочешь, я на тебе женюсь, Анютка?

Анна Степановна с робостью посмотрела, как я принял эти ее слова. Видали вы такие взгляды, сударь? К ним готовятся, не замечая, что готовятся. Сидит с опущенными глазами, произнесет решительные, объясняющие слова несколько не так легко, как другие, — как будто они на иностранном языке, на котором выговор затруднительный, — и поднимет глаза, и опять опустит. Я до сих пор конфужусь от этих смиренных, безмолвных молений «простите» — да у меня-то на каком же основании вы просите прощения? Поэтому я нашел вопрос:

— Это было уж после моего отъезда, должно быть; по окончании филипповского дела, Анна Степановна? — Разумеется, нечего было спрашивать: когда я уехал, он не был женат. Филипповским делом в городе называли это дело об азовском присутствии: коновод «азов» был Филиппов.

— Да-с; позвольте мне сказать вам, кто такая была я. — Она выразилась словом, которое прямо обозначало ее тогдашнее занятие, но уж не поднимала глаз; видно, что я хорошо выдержал первый ее взгляд, да и название «Анна Степановна» ясно для нас обоих выражало, что я, Анна Степановна, вижу, какая вы теперь, а мало ли, что могло быть со всяким из нас? — Поэтому-то, она была теперь успокоена.

— И хоть с моей стороны это было не совсем хорошо, но опять же он был почти что такой же потерянный человек, как я. Или, может быть, у меня и точно была твердая надежда на свое и на его исправление, или больше это было в чаду в этом, сама не понимала, что делала: пьешь, пьешь, и рассудок теряешь, как когда и в трезвом виде бываешь, то он в тумане остается, — или это по наглости, какую имеют в этом состоянии, то есть по честолюбию, чтобы говорить: я мужняя жена, — уж и не умею сказать вам, чего тут больше было, но только я ухватила за слова, сказанные им с пьяных глаз, и стала вести его к тому, чтоб он женился на мне. Мудрено ли окрутить такого потерянного в безумии и в развратнейшем пьянстве человека? У него не бывает уж никакой своей воли, — как теленок, или баран. Такими судьбами я таки взяла да взяла его в руки, да и обвенчала с собою, — все пьяного. А у меня-то ум еще не был пропит. Я рассуждала так: он умный человек, только страдает своею слабостью, потому что находится в обществе дурных людей. А если его взять под хороший надзор, он образумится и тогда может жить без нужды, потому что пишет бумаги очень хорошо. Сколько хлопот стоило мне достичь этого, сами можете судить; но, благодаря бога, успела я достичь своей цели. Корень всего зла его состоял



в пьянстве, как обыкновенно у таких людей, которые не имеют твердости в характере; и с этим злом бороться очень трудно. Сколько усердия приложила я к этому, могу сказать без похвалы: достойно удивления. Главное мое средство состояло в том, чтобы вдоволь было ему вина дома; и притом, конечно, стараться захватывать его по всякому делу при самом получении денег. Сама поила его; говорю: видишь, нет тебе ни отказа, ни недостатка в вине; что в трактир итти? Пей дома; спокойнее, Елизар Федотыч. Вот, стал он понемногу привыкать к этому. А когда это начало было положено, то и стал он приходить в порядок. Сначала и дома тоже пил мертвецки. Но деньги стали заводиться. Какие еще деньги? — Но, по крайней мере, не терпел холода и голода, как прежде случалось очень часто. Потом, знаете, когда я могла и обшить его как человека, стала я его стыдить и пробуждать в нем честолюбие: пей, говорю, кто тебе мешает? Но так, чтобы не срамиться перед людьми; когда пьян, то и лежи, спи. И потом же, я говорю, сам ты знаешь, Елизар Федотыч, что в пьяном виде недолго и в петлю шею угодить: не можешь рассуждать, какое дело можно делать, какого нельзя. Говорила ему все об этом примере, который он испытал, что сидел больше года в остроге по филипповскому делу, и едва тогда мог спастись от Сибири; и много других опасных случаев было. Я и урезонивала его этим. И он, будучи умным человеком, сам чувствовал это хорошо; только вовлекать его было кому, удерживать его было некому. А с моею поддержкою стал он таких дел избегать: ни фальшивых паспортов не стал выдавать, ни чего такого. И малу-помалу довела я его до того, что он проводил весь день в трезвом виде, ждал вечера, чтобы пить. Тогда, батюшка, мне даже удалось определить его опять в магистрат: взяли прямо на пять целковых жалованья. И с тех пор пошло: лучше, да лучше, и наконец, получал он до 20 целковых жалованья. Кроме того, дохода столько же. Вот как было хорошо! Сделала его человеком, и жили в достатке, и стала я даже откладывать деньги.

И, таким образом, прошло восемь лет. Пить он пил: очень редкий вечер ложился не выпивши очень сильно; но без всякого гулянья; или один, или тоже с такими людьми, которые ведут себя прилично. И больше один; поэтому тихо: выпьет себе да и валится спать. А до вечера совершенно как следует быть человеку.

Господи милостивый, и то слава богу!

Видя теперь его в таком положении, стала я собираться на то, о чем у меня давно была мысль.

Грешная моя была жизнь; что может быть грешнее? И это меня мучило очень много. Больше всего находила я себе утешение в этой моей мысли: не смела дать обещания, потому что обет богу дать — великое дело, но давно положила у себя на уме: когда исправление его будет сделано по божьему милосердию ко мне грешной, то схожу в Киев.

И вот, батюшка мой, на восьмой год моего исправления от грешной моей жизни понадеялась я на его постоянство и пошла в Киев.

Ох, беды, беды! Проходила я больше четырех месяцев, — более полуторы тысячи верст от нас до Киева, сами знаете — там долго пробыла, все покаянию предавалась, — пришла домой через четыре месяца: ничего-то в доме нет, все пропито; и деньги, мною собранные, пропиты, их было уж до двух тысяч рублей (ассигнациями), — и мой Елизар Федотыч опять в прежнем виде, кабацкий житель, с азами подружился, все спустил, и из службы выгнали его: все мои труды пропали, — и вот, по моему виду могли вы заключить и заключили, как с тех пор идет моя горестная жизнь.

Четвертый год так маюсь. Он редкий месяц не сидит в части половину месяца за азовские гибельные дела; по-родственному, нечего таить от вас: все опять пишет, и фальшивые паспорта выдает, и все, — и таскают по частям; другую половину своего времени по трактирам гуляет с азами. Бедная ты моя головушка! И потеряла я надежду опять его исправить. Истинно господь сказал: выгонишь ты беса из человека, и если человек снова откроет ему храмину души своей, то не возвратится бес один, а как наученный опытом приведет с собою помощников, семь бесов крепчайших паче себя, и будут последняя горша первых.

Я стал утешать Анну Степановну надеждою на новое исправление мужа. Она старалась ободриться, но сомнительно говорила «нет, батюшка мой: мои силы ослабели, и его лета старше: больше закоснелости».

С тех пор я не был в Симбирске, — пока жил там, еще месяца два, — виделся довольно часто с Анною Степановною, видел и ее мужа; он говорил со мною, держась за пуговицу сюртука, это поза великого уважения и смущения и полного согласия с вашими убеждениями. Но, говорю я, с тех пор я не был в Симбирске; иногда вспоминаю об Анне Степановне, думаю: каково-то идет второй ее тяжкий труд? Неужели без всякого успеха? — По всей вероятности.

## ВИДЕЛИ ЛЬ ВЫ?

Эта дама останется без фамилии; она — лицо вымышленное и невозможное. Поэтому, как же было б и давать фамилию ей? Мечта, а не человек; мечтам не нужно фамилий.

Я видел ее только один раз. Не судите обо мне по моим рассказам. Я человек фарисейской строгости в манере держать себя. Поэтому я одну минуту, не больше, посмотрел на госпожу без

фамилии и сел в другой угол комнаты, к которому сидела она спиною, — я для большей безопасности моих нравов и моей репутации тоже сел спиною к тому углу, где она сидела, — и занялся разговором с мужем этой дамы. Его я видел и прежде раза два.

Мы сидели у человека бессемейного. Только этим и объясняется то, что я мог увидеть даму, на которую не захотел смотреть. Ее уже давно не принимали ни в одном семейном доме. Да и невозможно было принимать. Дама, виденная мною, пренебрегала всякими приличиями, не было никакой несправедливости нисколько не отделять ее от женщин, торгующих собою. Однако она не торговала собою.

Между прочим, я полагаю, и потому, что не нуждалась в деньгах. Они не были богачами, но имели очень порядочное состояние. Другая причина ее бескорыстия была та, что она имела своими приятелями трактирных героев, которые сами рвут деньги из рук, готовы сорвать брошку с женщины, — и я думаю, срывали с нее не раз.

По всему этому вы видите, что я не заслуживаю имени фарисея за то, что отошел в другой угол. Неприлично, и что еще важнее, неприятно.

Вы ждете, что я готовлюсь этим рассказывать историю, оправдывающую ее; вы не ошибаетесь. Но не думайте, что рассказ потерял теперь интерес неизвестности. Ее оправдание очень оригинально.

Между прочим и потому, что она не сумела бы сама представить его; она не знала, чем она оправдывается. Она едва ли даже знала и то, что могла бы знать; а самого главного она никак не могла знать.

Начну ее оправдание описанием ее лица. Я не поверил бы, что у ней такое лицо, если бы не увидел своими глазами; советую и вам не верить справедливости моего описания, пока не увидите.

Развратница, — да, она была развратница. Может ли разврат не иметь выражения в лице? — Не может. Взгляд становится нагл, по крайней мере дерзок, — или хоть кокетлив, — или хоть лицемерен, — так ли?

А я увидел молодую даму с очень скромным, совершенно обыкновенным выражением лица.

Развратница, — но если так, она имеет же в себе что-нибудь особенное, — какой-нибудь недостаток характера или хоть страстность темперамента; должно же быть что-нибудь, склонившее ее к разврату. — Ничего такого нет в ее лице; лицо довольно живое, не мрачное, но нет в нем даже и страстности, не только порочного выражения.

Развратница, — но разврат очень быстро уничтожает свежесть лица. Не долго выдерживает его и организм, а гораздо раньше поблеклости от ослабления сил является отпечаток нравственного

перегара. Порок невозможен без борьбы с множеством неприятных мыслей. Это своего рода философия, — знание зла, — и серьезных огорчений или одуряющего увлечения. Что-нибудь серьезное, что-нибудь важное, во всяком случае.

Ничего не бывало. Этой даме было лет 27 или больше, ее лицо сохраняло 18-летнюю свежесть; такая свежесть не может сохраниться на лице человека, познавшего добро или зло, она сохраняется только, пока сохраняется спокойная веселость, тихая беззаботность о себе.

Я смотрел на это лицо только одну минуту: оно было так простодушно, что не стоило долго всматриваться в него. Все, что написано на нем, написано так ясно, что прочлось с первого взгляда: «ничего любопытного не было с этою женщиною; ни о чем не думала она, ничего не испытала».

Надпись очень обыкновенная; но как же она осталась на лице развратницы?

Я слышал об этой женщине кое-что и кроме скандальных ее приключений; слышал очень мало, — но, взглянув теперь на ее лицо, сказал себе: «что я знаю о ней, совершенная правда, как я теперь вижу, и мне нет надобности ни всматриваться в нее, ни говорить с нею, чтобы начать говорить всем и каждому, кто будет порицать ее: «пустяки, не говорите о ней ничего дурного».

Я скажу вам, что слышал о ней и чего было совершенно достаточно для меня, когда я взглянул на ее лицо, чтобы увидеть: какая ж она виноватая? Ничего не бывало!

Вот что я слышал о ней: семейство, в котором она выросла, не было очень умно; образование, которое она получила, было пусто; она вышла замуж без любви; человек, за которого она вышла, был очень глуп; она была неразвита и осталась неразвита. Она недурна собою, — подвернулся волокита, — начались поцелуи, — потом свиданья. Часто это сходит с рук благополучно, они—она и ее возлюбленный—как-то попались; вышел скандал; от нее отвернулись все, кроме дрянных женщин и волокит; человеку скучно без общества; и она живет в этом обществе.

Поэтому я сказал себе: «умные, нашли кого осуждать!» — и сел в другой угол.

«Но правила благородства» — да откуда они были бы в ней? «Но надобно же было ей рассуждать о последствиях» — как это хорошо рассуждать о каких-то последствиях, когда не умеешь рассуждать ни о чем. «Но должен же быть ум в человеке» — должен; но мало ли чего нет такого, чему бы должно быть. — «Но должна быть воля» — и это хорошо. Итак, вы полагаете, что хорошо было бы ей быть женщиною умною и твердого характера? — и я полагаю, что хорошо бы.

Я также полагаю, что не дурно было бы вам иметь миллион дохода, — имеете вы?

И осуждают!



## НЕВЕСТА

(Из воспоминаний Г. С. С.)

- Вы знаете Трумбицких?
- Как же не знать? Мы друзья с Иваном Петровичем.
- Пересчитайте, из кого состоит их семейство?
- Иван Петрович и Марья Ивановна; двое сыновей, старший Андрей и младший Семен, который учится в гимназии.
- Только, больше никого?
- Никого. Да что такое?
- Да ничего, и не об них дело. Слушайте, чему я был свидетелем. Сажу я у Полеводина.
- Ну, вот и станете рассказывать какую-нибудь небывальщину о его рассеянности. Не верю я этим рассказам. Будто бы привозил сухарь от жены в Английский магазин.
- Как, сухарь? Я не слышал этого, расскажите. Это недавно?
- Да, с неделю назад стали смеяться. Говорят, будто бы он пил кофе поутру, ломает сухарь, кладет в кофе, и только еще половинку обломал, а другую держит в руке, как входит его жена и говорит: «поедешь мимо Английского магазина?» — «Да». — «Так вот 50 рублей, я осталась там должна 38 р., завези, пожалуйста», — и кладет на стол бумажку; а он: «хорошо», вслед ей, хотел положить бумажку в портмоне, а в руке половинка сухаря, он ее в портмоне тогда; взял бумажку, изорвал, в стакан, и скушал с прежнею половинкою сухаря, ложечкою, а с другою половинкою сухаря поехал, взошел в Английский магазин, раскрыл портмоне, вынул оттуда и подает англичанину; тот, разумеется, подумал, что он шутит, взял у него сухарь и улыбается; — а он: «что вы улыбаетесь?» — да взглянул и увидел, «ах, это сухарь? как же это сухарь?» — «Не знаю», отвечает англичанин. Вот какой вздор рассказывают. И некоторые верят. — И глупы те, которые верят? Что же вы прикажете делать мне? Верить или не верить тому, что было при мне? — Сажу я у Полеводина. Когда взошел, застал у него Трумбицкого. Через несколько времени Трумбицкий ушел, и мы с Полеводиным стали говорить о делах. Входит его сын. Я совершенно не знал, что между ними небольшое столкновение: сын хочет жениться на девушке без состояния, Полеводин упирается, и уж недели две они все спорят. Вот он и обращается ко мне, когда вошел сын: «будьте вы судьей безрассудству нынешних молодых людей», — и пошел на эту тему. Оно, если хотите, он совершенно прав; кто ж может против этого спорить, что ныне в молодых людях мало хорошей нравственности и уважения? — Я поддерживаю его, потому что справедливо, он и поплыл, как на парусах, рад, что



я поддерживаю его. Только, знаете ли, сын слушал, слушал это и говорит: «Все-таки, батюшка, я не понимаю, почему вы так противитесь. Если б у вас была в виду другая невеста для меня, ваше упорство было бы натурально». — А он, знаете, как разговаривался, и не мог оставить этого без возражения: «А кто тебе сказал, что у меня нет в виду невесты для тебя? Напротив, очень может быть». — «Да нет, — говорит сын, — ведь мы говорили не раз; и чем не нравится вам эта девушка? Где вы найдете такую умную, скромную», — знаете, начал перечислять достоинства, как всегда молодые люди влюбленные. Вот старик-то и вышел из терпения. — «Не найти такой? Как не найти? Да я тебе сейчас укажу девушку, которая в тысячу раз лучше». — «Например?» — говорит сын. — «Да, — тот продолжает с азартом: — и какая девушка! Высокая, видная из себя, как танцует — загляденье! Глаза большие, голубые, сама белая, румяная, — чудо, а не девушка! И состояние отличное. Отец отдает за нею свое Тамбовское село, — знаешь, я думаю, более 1 000 душ, — а леса какие при этом имени! До 5 000 десятин большею частью строевого; — а река-то какая! Да если тут приложить руки, построить крупчатку, то вот тебе одна крупчатка даст верных до 30 тысяч рублей. И опять, родство какое: двое дядей генерал-адъютанты, — и ты, безрассудный человек, отказываешься от такой невесты! Ну, как же мне не сердиться на тебя?» — «В первый раз слышу это от вас, — говорит сын: — что за невеста? Какая?» — «Вот, извольте слушать, — он обращается ко мне: — утверждает, что и не слышал от меня, и не отказывался! — и вздыхает: — вот каков человек мой сынок!» — «Да что вы, батюшка? Я никогда не слышал от вас ни о какой невесте». — «Не слушал! Мало я говорил тебе: сватай Трумбицкого дочь!» — «Как Трумбицкого дочь?» — говорит сын с удивлением. — Ну, знаете, и я разинул рот. — «Мало я говорил о ней! И отец отдаст с удовольствием!» — «Да что вы, батюшка, шутите? Ведь у Трумбицкого нет никакой дочери!» — «Как нет? — да вдруг: — пошел вон, бесстыдный человек! До чего довел отца своим безрассудством».

Сын не стал ждать повторения, махнул рукою и ушел. Я сижу, даже я сконфузился, чувствую неловкость при такой okazji. Ну, и он не нашелся. Молчит. Неловко, — и даже мне жаль такой его неловкости, я опять об делах. — «Как же, — я говорю, — вы полагаете насчет мнения, которое мы получили от этого кляузника?» — знаете про то дело, — и он опять вошел в колену и стал говорить очень хорошо. Опять можно слушать с удовольствием и с пользою. Имеет превосходный взгляд.

— С этим я вполне согласен. Очень хорошо понимает дела.

— Да, полезный человек.

— И как жаль, что имеет эту слабость.

— Но, с другой стороны, и то надобно сказать: кому ж вред от этого?

# ХОХОЛ<sup>5</sup>

(Р а с с к а з Д. И. М.)

Дело было к вечеру. Мужик сидел и чесал в затылке; баба пряла; сынишка их, парень лет девяти, лежал на полотах, вниз брюхом, свесил голову и посматривал по углам, а для лучшего развлечения спустил рукава рубашонки с рук и поматывал ими, качая кисти рук, тоже спущенные с полатей.

В окно раздался голос: «добрые люди, пустите прохожего человека переночевать». Деревня была маленькая, глухая, без постоянных дворов. — Выговор прохожего был малорусский.

— Милости просим; войди, добрый человек, — отозвался хозяин. Хохол вошел. Одет был бедно, почти нищенски.

Посидели, поговорили; хохол рассказал, откуда, куда идет.

Хозяйка собрала ужин. Поели. Парнишка опять отправился на полати и расположился в прежней позе. Хозяин и гость улеглись. Хозяйка прибирала остатки ужина, потом села еще немножко попрясть.

Гость, человек дорожный, усталый, как лег, так и захрапел. Хозяин еще не заснул.

— Тятя, а тятя! — вдруг заговорил парнишка с полатей.

— Что?

— Зарежь хохла!

— Что ты, чертенок! Молчать, пришибу.

Парнишка замолчал. Через пять минут опять:

— Тятя, а тятя, зарежь хохла!

— Молчать, чертенок! Сказано тебе! Пришибу! Заснуть не даешь!

— Да что это тебе вздумалось, Петинька? — сказала мать.

— А вот, мамонька, как он храпит-то, у него так трепехнется горло-то: хорошо смотреть. А как зарежешь, он весь так-то затрепехнется.

— Трофимыч, ну, потешь сына, зарежь хохла.

— А ну вас совсем, спать не дают! Не отвяжешься от вас! — с неудовольствием проговорил Трофимыч, нехотя встал с лавки, взял топор и раскроил лоб хохлу.

— А как затрепехтал, как затрепехтал! — вскрикнул ребенок и от радости замахал ручонками и спущенными с них рукавами рубашонки.

**НЕ ВСЯКУЮ ПЯТКУ ХВАТАЙ**

(Рассказ поволжанина)

— Нет, это, я вам скажу, совсем особая вещь, переплыть через Волгу.

— Да разве переплывают?

Разговор происходил в Саратове, где Волга имеет версты три в ширину. Сомневающийся проезжий был человек ученый, знал, как удивляется Европа тому, что Байрон переплыл через Дарданеллы, которые в том месте вдвое уже саратовской Волги; сообразил, что морская вода гораздо лучше речной поддерживает тело, так что плыть по ней в десять раз легче; что течение в Дарданеллах ничтожно (в сравнении) с волжским.

— Да разве переплывают? Не может быть!

— Оно точно, сударь, не легко; притом же и опасно, но как же не переплывать? переплывают. Конечно, надобно иметь силу, а главное, ловкость. И конечно, сударь, на редкость. Потому что трудно. И опасность большая.

— Еще бы не опасность! — Я слышал, что если пловец слишком утомляется, то с ним могут сделаться судороги, — и он идет ко дну, прежде чем успеют подплыть к нему.

— Это точно, бывает; но другая опасность больше: сомы хватают. Ведь у нас какие сомы? Как есть зверь, смотреть страшно! По нескольку человек тащат, когда попадетсЯ, не могут вытащить на берег; иной гребцов измучит, пока к берегу подведут его: прет, как медведь, так и прет лодку; обухами глушат, только тем и справляются, а то не выволочешь его, зверя такого: чудовище, как есть. Вот они и хватают. И какие они смелые: ни шуму он не боится, ни людей. Вон весь берег в два ряда, в три ряда уставлен судами, а не редкость, что сом хватает, — и утащит. Не один человек так-то пропал, купавшись. Но только и им, сом-ам-то, не всегда это дело сходит с рук: вот, был случай, так можно сказать, было у нас довольно смеху. Вы не изволили слышать, у нас есть тоже из мещан, Бадейкин?

— Нет, не слышал.

— А я полагал, что могли слышать потому, что он человек известный своим дебоширством по всему городу. Кабак ли где разбит, так ли где драка была, — спроси, и Бадейкин тут был. Пьяница горький, только и вино мало действует на его натуру: у него на лбу шишка, — как бы нарост, так он и говорит: у меня, говорит, в эту шишку хмель уходит. Ну, оно и без шишки тоже, я полагаю, было бы: мужичище здоровеннейший, каких очень мало. — Чем его спонить? — Господин Нефедьев, тоже шутник, позвал его к себе, сел с ним пунш пить; так что ж вы думаете,

сударь? Две бутылки рому в пуншах выпил, и хоть бы в одном глазе! Ничего, трезвый, как есть, не узнаете, пил ли, нет ли.

— Как? Две бутылки рому?

— Две бутылки. И ничего хмелю не заметно. Так вот это я начал вам говорить о сомах-то. Раз тоже купается этот Бадейкин; а пловец он, сударь, удивительный: легок на воде. И дивны очень тучен был, — ну так, а то нет: только в своем теле, а не толст; удивительную имеет легкость на воде. Вот, он купается раз, и поплыл на руль к беляне, саженьях этак в тридцати от берегу, и почти уж доплывал, — с ним тоже еще другие плыли, иные уж доплыли до беляны, другие позади его плыли, — ему оставалось не больше как сажени четыре до беляны-то, как вдруг он вскрикнет неистовым голосом: «ой», да и пропал; только, товарищи не успели опомниться от этого испуга, он уж опять показался над водою; барахтается, — так тяжело, и будто не в себе; однако плывет к беляне; опять нырнул под воду, опять выплыл и кричит: «держите меня, братцы, выручите! Ко дну тянет что-то!» — те к нему; но уж сам доплыл в это время до беляны, ухватился за руль, вылез на него; — что же, батюшка мой? — за пятку-то ему схватился небольшой сомик, так около сажени: вот что его тянуло ко дну! — Так схватился, что и не отцепился и вытащился из воды — не отцепился.

— Что это вы говорите? Как же, одолеть сома!

— Так, сударь, удивительно, что я во жизнь мою не слышал другого такого случая. Больно пятку-то прокусил: у сома в двух местах сила, как у всякой рыбы: в хвосте и в челюстях большая сила. Разнять не могли. Один сплавал на берег за топором; только убивши сома, могли отнять его от пятки.

Так-то оно и вышел смех: «наш Бадейкин сомов ловит» — долго смеялись: как он купаться, а ему и говорят: «опять сома поймать хочешь?» — «Нет, братцы, говорит, не желаю».

## НОВЫЕ СЦЕНЫ

Господин Икс и г. N уже находятся в добром знакомстве между собою, и потому господин Икс, хотя продолжает порицать то, что дурно в поступках или словах г. N, говорит с ним без прежней суровости.

Примечание: Это объяснение лишнее, потому что хорошая драма должна быть ясна сама собою, без комментариев автора.

## Сцена первая

Разговаривающие: Господин Икс.  
Господин Эн.

Икс. Послушайте, однако, Эн: я не могу одобрить этого анекдота: он выставляет нашего простолюдина зверем.

Эн. Почему же «нашего»? Может быть, всякого?

Икс. Пожалуй, но тем хуже. Разве простолюдин зверь?

Эн. Почему же простолюдин?

Икс. Пожалуй, но тем еще хуже: разве человек зверь?

Эн. Почему же «человек», а не «неразвитый человек», и почему «зверь», а не «дитя»?

Икс. Хороши дети, у которых уже у самих дети! Не говорите такого вздора.

## 27

### ПИСЬМО

Какой досадный человек вы! Когда я не вижу вас, мне так хотелось бы поговорить с вами о многом, важном; являетесь вы — и у меня пропадает охота. Что за радость вам разыгрывать роль пустого человека? Как иначе назвать вашу насмешливую, невероятную манеру уклонять(ся) от всякого дельного разговора? Но вы не так дурен, как желаете казаться. Я уверена, что вы любите меня. Говорите ж со мною серьезно. Я хочу знать ваше мнение о всем, что важно для меня. Не обижайте хоть вы меня тем, чем оскорбляют другие: не обращайтесь со мною, как с куклою. Не забавляйте меня пустяками, не уклоняйтесь от разговора со мною, как с человеком.

Много раз я хотела сказать вам это и ни разу не могла сказать: так дурен вы, когда я вижу вас. Наконец, решила написать. В вашем кабинете, я уверена, вы добр и хорош.

## 28

### ВРЕД БЕЗРАССУДСТВА

(Истинный случай)

Неонила Глебовна Арпидьева была безрассудна.

При всем том, до шестидесяти лет она не понимала, что безрассудство вредно. Но на 61-м году своей жизни пожала горькие плоды его.

В ее поместье был пруд. Однажды, когда она купалась в этом пруду, вода показалась ей холодна. Что ж вздумала сде-



лять безрассудная Неонилла Глебовна? Приказала истопить баню, наготовить множество ушатов горячей воды и принести их в купальню. Когда это было исполнено, она пошла купаться. Приказала вылить воду в воду и, раздевшись, бросилась в эту воду. Но едва бросилась, как с криком выскочила назад: вода в купальне была горяча и больно обожгла ее.

К счастью, ключница ее не потерялась при таком необыкновенном обстоятельстве, вымазала всю ее деревянным маслом, и через два дня Неонилла Глебовна была опять здорова. Но два дня она очень страдала от обжога в пруду.

Так вредно безрассудство!

Подумаем теперь, — не о вреде его, потому что он ясен, — а о том, можно ли выразиться о Неонилле Глебовне, как мы выразились, что она «пожала горькие плоды» своего безрассудства. Кажется, вернее было бы сказать: «горячие», — потому что она обожглась, — но «плоды» ли? — и притом, уже не об этом случае, а вообще о всяком: плодами называются яблоки, груши и тому подобные произведения плодовых деревьев. Пожинают ли их?

Потому, едва ли может кто-нибудь пожинать хорошие или дурные, горькие или сладкие плоды.

## ИЗ ДОРОЖНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ \*

(П. Н. А-р а)

Мы ехали с двоюродным братом из Бузулуцкого уезда в Петербург, — я учиться, он служить. Это было лет пятнадцать тому назад. Тогда еще не было пассажирских пароходов на Волге; мы были люди не богатые деньгами, — поехали на перекладных. Ему было меньше 25 лет, мне меньше 20; но и молодые бока болят от езды на перекладных. Поэтому, мы были очень рады, когда в Казани нам сказали, что оттуда до Нижнего ходят Коровинские тарантасы. Отправились в Коровинскую контору; — «Вы берете только два места? В тарантасе три места. Впрочем, не будете ждать: у нас вчера был господин, просил дать ему знать, когда будет взято два места: он возьмет третье для дамы, своей жены». Часа через два приказчик из Коровинской конторы пришел к нам в гостиницу и сказал, что «тот господин взял третье место», что к вечеру, часов в пять, мы можем выехать. Мы были очень рады.

В пятом часу мы приехали в Коровинскую контору. Через несколько минут приехали пожилой господин с дамою, лет под пятьдесят, — это наша попутчица. Мы отрекомендовались друг другу, уселись в тарантас и отправились.

Попутчица была очень милая старушка, веселая и без претензий. Мы были очень довольны ею, она нами.

Рассказывающий замолчал.

— Дальше, сказал я.

— Вы были в Нижнем?

— Был.

— Так что ж мне описывать его вам? А Москву тем более нечего описывать.

— Да нет, ну что ж ваша попутчица и вы?

— Да вот, понятно, что приехали в Нижний; что ж тут такого особенного?

— Стоило же рассказывать!